

ВИКТОР КОНЕЦКИЙ

МОРСКАЯ
СЕРИЯ



ВЧЕРАШНИЕ ЗАБОТЫ

Морская серия

Виктор Конецкий
Вчерашние заботы

«Издательство АСТ»

1979

Конецкий В. В.

Вчерашние заботы / В. В. Конецкий — «Издательство АСТ»,
1979 — (Морская серия)

«Теплоход «Державино» – лесовоз, построен в 1968 году в Раума, Финляндия.
Скорость 13,5 узла, район плавания неограниченный, автономность 24 суток,
длина 102,27 метра, осадка вгрузу 6,00 метра, водоизмещение 5580 тонн,
мощность двигателя 2900 индикаторных лошадиных сил...»

© Конецкий В. В., 1979

© Издательство АСТ, 1979

Содержание

Часть I	5
По старой дорожке	5
Мурманск	17
Начало выяснения отношений	25
Фома Фомич в институте красоты	36
День ВМФ на Диксоне	49
Диксон – мыс Челюскина	54
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Виктор Конецкий

Вчерашние заботы

Часть I

«Труд моряка относится к категории тяжелого».
Инструкция по психогигиене для капитанов и старших помощников
судов морского флота СССР

По старой дорожке

18.07.15.00.

Восьмизначные цифры будут обозначать: первые две – сутки, вторые – месяц, третьи – часы, четвертые – минуты. Иногда они будут фиксировать момент события, иногда – момент записи события.

Итак, 18 июля 1975 года в пятнадцать часов ноль ноль минут я получил предписание на теплоход «Державино».

22 июля надлежало вылететь в порт Мурманск, куда судно шло из Ленинграда вокруг Скандинавии.

Дальнейшая ротация, то есть порядок заходов судна в порты, предполагалась следующая: Мурманск – Певек – Игарка – Мурманск – один из портов ГДР.

Теплоход «Державино» – лесовоз, построен в 1968 году в Раума, Финляндия. Скорость 13,5 узла, район плавания неограниченный, автономность 24 суток, длина 102,27 метра, осадка вгрузу 6,00 метра, водоизмещение 5580 тонн, мощность двигателя 2900 индикаторных лошадиных сил.

Мое состояние в момент получения предписания – некоторое недоумение. Около полутора лет я отплавал на Европу и сделал два круга на США. Круг – это когда берешь груз на порты США из европейских портов, а из США – на Европу. И домой, в Ленинград, между кругами не попадаешь.

Беличье колесо.

Но при всем при этом нормальные рейсы. И если бы мне предложили еще такой, то я бы постарался увильнуть. Но увильнуть от невыгодного, тяжелого и нудного плавания в Арктику я не хотел и не стал.

Политическая обстановка на этот момент в мире.

Некоторая оттепель. Заголовки газет: «Рукопожатие в космосе», «Стыковка кораблей “Союз-19” и “Аполлон” осуществлена». Фотомонтаж: вверху американские и наши солдаты встречаются на Эльбе, в середине стыкуются космические корабли, внизу обнялись пять космических братьев.

Но в Лиссабоне дела идут паршиво, положение на Ближнем Востоке, по словам Вальдхайма, «серьезное и продолжающее оставаться опасным».

Хорошо хоть то, что я отправляюсь не на Ближний, а на Дальний Восток...

Положение на спортивной арене. «Овации Ольге Корбут». Студентка из Гродно в блестящей спортивной форме. За нее можно не волноваться.

15.30. Четырехзначные цифры будут в дальнейшем обозначать время внутри очередных суток: первые две – часы, вторые – минуты.

Итак, по-сухопутному говоря, в половине четвертого дня замначальника пароходства по мореплаванию обрисовывает мне арктическую ситуацию.

Я слушаю плохо, ибо боюсь назвать его «Шейхом» – это подпольная кличка Наримана Тахаутдиновича Шайхутдинова. Я же подпольно влюблен в Шейха, но он, увы, влюблен в Омара Хайяма.

– Да-а, уйти в море может и дурак, – задумчиво говорит Нариман Тахаутдинович, разглядывая огромную карту Арктики. – А вот вернуться... тут уж нужен отнюдь не дурак.

– Если я что-нибудь напишу о предстоящем рейсе, то разрешите поставить эти бессмертные слова эпитафией?

– Бога ради! Пожалуйста! – широко дарит эпитафию Шейх.

Под финал разговора узнаю, что нынче особо жестко требуют соблюдать «Положение о назначении в арктические рейсы дублеров капитанов».

На ледоколах этот институт привился давно, а нашему пароходству сложно находить людей. Потому-то, очевидно, и нашли меня.

Суть «Положения» в том, что на мостике во льдах обязательно должен быть капитан. Раньше суда подолгу лежали в дрейфах, их капитаны зачастую сами выбирали оптимальные пути и могли выкроить несколько часов для сна. Нынче техника заставляет находиться в движении во льду практически девяносто процентов рейсового времени, но никакой моряк, даже если он годится для выделки гвоздей, выстоять такое на мостике не в состоянии.

Получив традиционное «Счастливого плавания» и печатную инструкцию, уже иду к порогу. Шейх останавливает:

– Вы с Фомичевым знакомы?

– Нет. Но слышал много.

– Н-да, – загадочно ухмыляется Шейх. – Еретик. И знаменитый драйвер. Вам полезно будет с ним поплавать. Потом расскажете впечатления. Мне для дела надо.

– Есть.

«Драйверами» называли когда-то самых отчаянных капитанов чайных клиперов. Драйверы и в ураганный ветер не спускали парусов и не брали рифов, а когда мачты уже готовы были улететь к чертовой матери, стреляли в парус из пистолета. Дырочку от пули ураганный ветер за десятые доли секунды превращал в огромные дыры, и парус обвисал лохмотьями. А мачты оставались на местах. Спрашиваю:

– Нариман Тахаутдинович, вы имеете в виду то, что мне предстоит работать с капитаном отчаянного мужества?

– Не только это, – со вздохом говорит Шейх. – Плоховато вы знаете английский, Виктор Викторович. Англичане – странная нация. У них одно слово обозначает разом сто пятьдесят смыслов и понятий. Я всегда восхищаюсь такой плюшкинской скупостью великобританцев на слова. И как они книги пишут?.. Н-да, придете домой – посмотрите словарь на «драйвер».

– Есть, Нариман Тахаутдинович!

Дома смотрю англо-русский словарь и прихожу к выводу, что мне предстоит встретиться с достаточно сложным человеком. Ибо слово «драйвер» работает у англичан в диапазоне от «гонщик» и «преследователь» до «надсмотрщик за рабами» и от мирного «кучер» до мрачного «доводящий до отчаяния». На американском сленге «драйв» – продажа товаров по дешевке с целью конкуренции, в горном деле «драйвер» – обыкновенный коногон, в сельском – погонщик скота, в медицинском «ту драйв мед» – сводить с ума. Еще это слово обозначает хозяина-эксплуататора, бизань-мачту, вождение автомобиля и... писательский труд («ту драйв э пен» – «гонять перо» в буквальном переводе). И вот я назначен дублером драйвера Фомы Фомича Фомичева.

Посмотрим инструкцию.

«Должностная инструкция дублеров капитанов судов на время плавания в арктических водах:

1. Дублер капитана назначается приказом начальника пароходства из числа наиболее подготовленных старших помощников, имеющих опыт работы во льдах в условиях арктического плавания, для усиления вахтенной службы и обеспечения безопасности мореплавания.

2. Дублер капитана относится к старшему комсоставу судна, подчиняется непосредственно капитану и отвечает за безопасность мореплавания во время несения своей вахты.

3. В процессе подготовки и погрузки арктического груза дублер капитана оказывает помощь капитану в организации грузовых операций.

4. Дублер капитана своим опытом, знаниями, всеми средствами содействует быстрейшему завершению арктической навигации.

5. На время плавания на трассе СМП капитан своим приказом назначает конкретные часы, в течение которых дублер обеспечивает безопасность мореплавания, непосредственно осуществляет управление и маневрирование судном при самостоятельном плавании во льдах и в караванах за ледоколом. Вахтенные младшие помощники несут вахту в соответствии с уставом и выполняют свои уставные обязанности.

6. В борьбе за живучесть судна дублер капитана по указанию капитана находится в месте наибольшей опасности и непосредственно руководит работами в соответствии с НБЖС-70.

Зам. нач. БМП по мореплаванию

Н. Шайхутдинов».

22.07. 13.30.

Прощаюсь с живой природой перед ледяной Арктикой.

Отошел от муравейника аэропорта Пулково метров на триста.

Присел на предельно загрязненную травку под чистыми березками, гляжу на серенькие кашки, говорю кашкам о любви. Они молчат. Нужна им моя любовь! Рядом траншея – копают канализацию. Пахнет свежей землей.

Солнце. Тени от березок ласкаются к кашкам. А в трехстах метрах пятитрубный аэропорт стоит на мертвом якоре, битком набитый человечеством. Июль. Мягкость ветерка. Зелень лета.

Прощай, зелень.

Рейс № 8698. Взлетели точно.

Когда пролетаем Имандру, начинает тянуть на воспоминания.

Красивое озеро Имандра. Из-за его красоты я и погорел в ранней юности.

...Эшелон тянется от берегов Баренцева моря в Питер. Конец августа пятьдесят первого года, около девятнадцати часов. Мы где-то между Хибинами и Апатитами. Я – часовой. Обязанности просты. На очередной остановке вылезает и ходишь вокруг да около концевой вагона с винтовкой наперевес.

Политическая обстановка в мире – пик холодной войны. Но мы знаем холодную войну как теплую, а то и чуть-чуть не горяченькую. И все мы – воины – вместе с газетами поднимаемся на штурм Марра, наступаем на теорию относительности, крепим оборону против морганистов...

Суровое время. Но впереди отпуск. И ты влюблен первой и прекрасной любовью. И такой сногшибательный закат над Имандрой: склоны гор алые, ели на их фоне черные, возле полотна по склонам насыпи цветут лиловые пышные цветы, между прибрежными валунами вода нежная, и каждое самое легкое облачко отражается в темнеющем штилевом зеркале озера. А тебя овеивает ветерок, пахнувший елями, соснами и близкой свободой, ибо ты сидишь на полу теплушки, свесив ноги через порог, ждешь очередной остановки эшелона и поешь с коллегами «Прощайте, скалистые горы...».

Тепловоз гудит предупреждающими гудками: сейчас застрянем на каком-нибудь полустаночке, освобождая место пассажирскому нормальному поезду. Пора кончать лирику и брать винторез. У меня он поставлен в уютном местечке – у противоположной двери теплушки в уголке между дверью и стенкой, но...

Винтовки в ее уютном гнездышке нет.

– Ребята, хватит шутки шутить! Куда винторез запрятали?

Никто не признается, а эшелон уже едва ползет. Согласно инструкции, часовому пора выпрыгивать, чтобы осмотреться и войти в боевую форму для охраны товарищей и народного имущества от всевозможных опасностей.

Теплушка обыкновенная, стандартная – нары в два ряда по бокам, пяточок в середине свободен, пирамид для оружия нет. Винтовку получаешь перед заступлением в караул в штабном вагоне. Потому в инструкции сказано, что часовой с ней не расстанется и в промежутках между остановками эшелона. Но перегоны на Кольском полуострове иногда очень длинные...

– Ребята, кончай разыгрывать!

Шурую под сенниками-матрацами на нарах, лезу под сами нары, дергаю за ноги спящих. Мат-перемат из четырех десятков глоток. Потом боевые товарищи начинают кое-что соображать. Часть их включается в лихорадочный и бессмысленный поиск (знаете, исчезнет у вас из ванной комнаты мочалка, и вы ловите себя на том, что ищите ее и в столовой, и под комодом, и еще черт-те где, хотя абсолютно ясно, что в столовую или в почтовый ящик попасть она никак не могла). Так вот, часть ребят включилась в такие поиски, а кое-кто начал уже удаляться от моей персоны, создавая знаменитый «круг безопасности», – время, повторяю, было суровое. И от потенциального каторжника логично держаться подальше, чтобы каким-нибудь макарон не быть замешану в историю.

Кто-то, самый умный, догадался, как дело происходило. Дверь теплушки, как у всякого телячьего вагона, откатывается в сторону по направляющим на колесиках. Изнутри стопорилась она деревянным клином. Клин от вибрации ослабел, между дверью и стенкой образовалась щель, винтовка в нее выпала; затем кому-то в щель стало на нары сквозить, он встал, накатил дверь обратно и опять запер на клин.

Вот и все дела, браток. Закрыватель двери вспоминать этот момент не считал нужным. А может, «заснул» и действительно забыл. Мне же все важно было знать. Последний перегон был около сорока километров. Когда: в начале, середине, в конце перегона это случилось?..

Эшелон уже стоит, мне давно пора выскакивать на стражу. А в голове: «Часовой на посту утерял боевое оружие с боевыми патронами – трибунал? пять лет? десять? спишут в матросы?..»

Начальник эшелона – заместитель адмирала по строевой части полковник Соколов, уставник до мозга костей: на парадах и торжественных проходах по городским улицам он впереди, весь в золоте и владеет таким парадным шагом, что Павел Первый ему бы при жизни памятник поставил. А меня полгода назад разжаловали из старшин второй статьи – за длинный язык – в рядовые. Полковник Соколов обставил процедуру торжественно: был и барабанный бой, и срезание старшинских лычек, и отрывание козырька у старшинской фуражки прямо на плацу перед строем училища. Помнит меня полковник как облупленного...

Вот эта строевая машина – начальник эшелона, отвечающий за курсантов Высшего военно-морского училища, за будущих офицеров флота, – расхаживала у штабной теплушки, ясное дело, парадным шагом. И так он это проделывал, что дерзко-задиристые и хамоватые кольскиесмазчики букс шмыгали носами, утирались промасленными рукавами ватников и проскакивали мимо полковника бочком и молчком, хотя никакого отношения к строевому механизму не имели и спокойно могли ругаться от души и размахивать молотками безо всяких яких.

Все, Витя, вылезай, потому что приехали.

И:

– Разрешите обратиться, товарищ полковник?

– Что у вас, товарищ курсант?

– Докладывает часовой концевой вагона. Мною на последнем перегоне утеряна винтовка.

– Старшина Рысев!

– Слушаю, товарищ полковник!

– Взять под стражу! Поедет дальше в штабном вагоне!

– Лезь сюда! – это Рысев говорит. Он мне лычки срезал.

– Товарищ полковник!.. Я... разрешите остаться!

– Старшина, проследите, чтобы снял ремень, и обыщите!

– Есть, товарищ полковник!.. Тебе сказано: лезь сюда!

Я влез, расстегнул бляху, снял ремень и вывернул карманы. Ничего в них, кроме носового платка и махорки, не было. Рысев посадил в угол и еще отгородил от свободы скамейкой.

«Часовой на посту утерять оружие – трибунал и десять лет, как одна копейка, а для примера могут и еще что-нибудь пострашнее выдать».

Строевая машина поднялась в вагон.

– Доложите, что и как. Старшина, записывайте.

Я доложил. И закончил мольбой: оставьте, мол, здесь, я побегу обратно и найду винтовку, я ее из-под земли выкопаю, я...

– А не найдешь – башку с отчаяния под поезд? Или по молодой глупости дезертируешь? И мне за тебя трибунал?

Дежурный по полустанку заглянул в вагон и доложил, что эшелон отправляется через пять минут.

«По вагонам!.. По вагонам!.. По вагонам!..» – покатило вдоль и вдале.

– Нет! Товарищ полковник, нет! Честное слово! Не найду – вернусь!

– Товарищ полковник, здесь четверо лихих людей в тайге шатаются, – вклинился с дурацким напоминанием старшина Рысев. – Как бы они его не пришили.

– Молчать! Вас не спрашивают! – рубанула строевая машина.

И пошла шагать из угла в угол штабного вагона, а вместе с ней шли секунды и минуты, складываясь в десять лет. И главное даже не в тюрьме было, а в матери. Я знал: не переживет. Но также знал и понимал все то, что творилось сейчас в душе и мозгу строевой машины. Оставить меня – нарушить законы, и каноны, и уставы, и кодексы. И ответственность взвалить себе на погоны, – а семья? а служба? а карьера, в конце концов?.. И так просто – оставить здесь пять человек, дать сопроводилку, сообщить железнодорожному начальству, а разиня пусть катит за решетку. Конечно, и при таком варианте взыскание влепят и ему, полковнику Соколову, но всего на уровне выговора. А если мальчишка сдрейфит и ударит в бега? Конец тогда Соколову. Вот какой вопрос на уровне «быть или не быть?» решала строевая машина. Время, еще раз повторяю, суровое шагало, катилось, текло и по стране и по планете.

– Старшина!

– Есть, товарищ полковник!

– Отдай ему ремень!

– Есть!

– А ты – бегом за бушлатом! И сразу сюда! Марш!

Я кубарем вылетел из вагона и помчался за бушлатом, еще не понимая толком, что означает ремень, что – бушлат и зачем бегом обратно.

Тепловоз визгливо гуднул, когда я подбежал к штабному вагону с бушлатом.

– На поиски сутки, – сказала строевая машина. – Сейчас, – взглянула она на часы, – двадцать сорок восемь. Этот перегон был тридцать шесть километров. Через сутки при любом результате поисков догоняете эшелон на любом поезде. Все ясно?

– Так точно! Спасибо, товарищ полковник!

Эшелон дернулся. И в каком-то беззвучии покатали теплушки в свой вечный, тупой, безропотный путь. Я даже лязга буферов не услышал – немое кино. Но человеческий голос в сознание проник:

– Эй! Старшина! Брось ему хлеба!

– Не надо! Не надо! – крикнул я.

– Рысев! Кому приказано?! – прорычала строевая машина, и из проема дверей штабного вагона вылетела буханка.

Ребятишки пилили zenки, пока эшелон тянулся мимо – теплушка за теплушкой.

Кое-кто из них меня любил, кое-кто наоборот, но все пилились с испуганным любопытством.

Через минуту на безымянном кольском полустанке никого не осталось, кроме меня и буханки черного хлеба. Я ее не поднял. Не до нее было, дураку.

На мне были белая брезентовая роба, бушлат, бескозырка и яловые ботинки – «гады» на курсантском языке.

Вы когда-нибудь бегали по железнодорожным путям? Если бежать по шпалам, то надо или прыгать через две на третью, или частить по одной. И то и другое невозможное дело, если надо действительно бежать, а не кое-как передвигаться. Конечно, можете попробовать бежать обочь путей, но там был гравий, он осыпался под «гадами», от него невозможно было толкаться для настоящего бега. А надо было именно бежать. Я не так опасался того, что винтовку найдут лихие люди, как того, что ее сопрет какой-нибудь стрелочник. В таежной глухомани Хибин, воглубине Кольского полуострова винторез с полной обоймой боевых патронов для стрелочника был бы таким сюрпризом, что он никогда и никому его не отдал бы ни за мольбы, ни за слезы, ни за деньги, ни даже за коврижки.

Вы когда-нибудь пробовали начинать забег на тридцатишестикилометровую дистанцию после того, как месяц почти не двигались, сидя в отсеках подводной лодки?

Уже через несколько минут так заболело под ложечкой, что я сошел с дистанции и сел на рельсу, скрючившись в три погибели.

Сумерки перетекали в кромешную ночь. С одной стороны насыпи шумела тайга, с другой – довольно далеко внизу – чуть плюхала в камень Хибин Имандра. Глухо было вокруг. И сквозь боль я ощутил одиночество. Первый накат одиночества в ту ночь, еще слабый накат – как бы пленка одиночества.

Я, как всякий, кто служил в армии или на флоте, был не один раз гоняем в кроссы с полной выкладкой. И знал, что боль под ложечкой можно преодолеть только тем, что будешь продолжать бежать дальше, сквозь нее.

И я побежал, то прыгая через шпалы, то по осыпающемуся гравию. Но мне ведь не просто бежать надо было. Мне надо было смотреть во все глаза, чтобы не проташиться мимо винтореза. А как он упал? Куда закатился по инерции? Надежда обнаружить винторез сохранялась только потому, что выпал он не в сторону откоса насыпи к Имандре, а в противоположную сторону – между путями.

Километра через два я скинул бушлат и даже не оглянулся на него. Боль под ложечкой слабела, но черт бы побрал брезент робы! Этот жесткий морской брезент не для сухопутных кроссов. Он начал сдирать кожу на коленях. А широкая рубаха робы, которую я выпростал из-под ремня (взмок от пота), сильно парусила. И где-то на пятом километре я скинул и ее. К этому моменту я, ясное дело, уже не бежал, а брел и пучил глаза во тьму.

Тьма возле самой земли была какая-то более светлая, чем окружающий мир. Быть может, озеро собирало в линзу штилевых вод свет звезд и отбрасывало под ноги.

Кажется, не думал ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем. Сил хватало только на то, чтобы гнать и гнать себя вперед. Брезент содрал кожу на коленях до ощущения мокроты, но расстаться со штанами я не решился. Тем более что главная боль спустилась ниже. Морские «гады» носятся не с портянками, как сапоги в презренной пехоте, а с носками. Железная яловость ботинок не амортизировалась носками и терзала щиколотки почище брезента робы.

На двенадцатом километре я понял, что наступает каюк, что надо отлежаться, спуститься к озеру и попить. До этого запрещал себе думать о воде, потому что знал: пить нельзя.

И вот когда я остановился, чтобы собраться с силами и съехать с насыпи к Имандре, то увидел винтовку.

Боевая подруга торчала из кучи запасного гравия прикладом вверх, на треть воткнувшись в кучу стволом. До винтовки было шагов десять. Я не стал их делать. Я съехал на зад с насыпи, подполз к урезу воды и опустил башку в чуть колыхающуюся волну. Потом расшнуровал и снял «гады». Носки были сочными от кровищи. Стаскивать их я не стал – было больно. Я сунул ноги в Имандру, которая спасла меня привиденческим светом своих вод. Но в первую очередь-то спас меня, ясное дело, полковник Соколов.

Кажется, я заплакал, потому что после напряжения сразу наступил спад и я ослабел физически и духовно.

Штиль был над озером. Черное зеркало. Но вода все-таки чуть колыхалась. И шорох время от времени прокатывался вдоль берега. И мощные деревья за насыпью тоже пошевеливали черными вершинами с древесным шумом.

Я первый раз в жизни был ночью в тайге.

Из черного зеркала озера торчали под берегом белые глыбы. Казалось, они тоже шевелились. От жути и одиночества или просто остывая после кросса, я затрясся мелкой дрожью. Ведь, кроме мокрой от пота тельняшки, на мне ничего не было. И вообще, следовало начинать обратное движение – еще двенадцать километров по шпалам, по шпалам.

Более истертую ногу я обмотал носовым платком, штаны засучил выше колен и выбрался на насыпь. Вытащил и обтер рукавом тельника винтовку, пару раз щелкнул затвором, убедился, что все с затвором в порядке, загнал патрон в патронник на всякий пожарный случай и сразу почувствовал себя не таким уж и одиноким в ночи Кольского полуострова. И тогда вспомнил о наличии махры в кармане. Это было замечательно – сесть на рельсу, свернуть закрутку и закурить горячую махру, когда между стертых коленок зажата винтовка.

За все это время мимо не прошел ни один поезд, а тут рельса подо мной начала подрагивать и я увидел в чуть уже сереющей тьме свет фары. Катил тепловоз, но без состава.

Мне продолжало везти!

Я вскочил, поднял над головой винтовку, и принялся отплясывать на путях индейский танец, и, конечно, орал что-то. Кто мои оранья мог услышать? Но дикую фигуру в засученных штанах, в тельняшке и с винторезом над башкой машинисты заметили. И остановили тепловоз, и взяли на борт. Когда я полез по ступенькам-лопаткам в будку, кто-то решил бедолаге помочь и схватился за штык, подтягивая вверх. И я чуть обратно не прыгнул, ибо в измученном сознании это представилось покушением на винтовку.

Да и патрон был в патроннике, а свернуть курок на стопор я от возбуждения и удачи забыл. Ствол же смотрел прямо в лоб моему чумазому помощателю.

Оказалось, что по селектору было сообщено кому положено на перегоне между станциями Хибины и Апатиты, что где-то там болтается не беглый каторжник, а военный служащий, выполняющий спецзадание. Это полковник Соколов предусмотрел. Очень мудро. Потому что только на борту тепловоза, который развозил по линии смену железнодорожных работников,

я понял, что, кроме щепотки махры, в карманах у меня ничего, включая хоть одну копейку, не было. Зачем военному человеку деньги?

Ребят с тепловоза не запомнил. Даже где я там сидел, не помню. Зато отлично помню, как ныл про брошенные где-то бушлат и рубашу и про то, что с меня за казенное обмундирование высчитают всю отпускную получку. И бушлат ребята обнаружили, и притормозили, и кто-то за ним слазил.

...И пусть солдат всегда найдет
У вас приют в дороге —
Страны любимой он оплот
В часы ее тревоги...

Рубаша осталась в тайге на радость путевому обходчику.

В Апатитах дежурный по станции посадил в первый же пассажирский поезд в общий вагон на третью полку. Жрать хотелось мучительно. Буханка, оставшаяся на земле, так и торчала перед глазами. Но я быстро вырубился, обняв винтовку и застегнув поверх нее бушлат на все пуговицы.

В Кандалакше милицейский патруль наконец-то обнаружил одного подозрительного беглого, да еще с винтовкой и на третьей, безбилетной полке.

Проснулся я от света фонарика, направленного в физиономию, и довольно крепкого тумака. И конечно, кто-то из патрульных ухватился за винторез. Вероятно, это были тренированные самбисты, регбисты и боксеры, но я плохо соображал после пережитого и принялся лягаться и отбиваться с такой беззаветной и неукротимой энергией, что они отступились, и тогда проводник объяснил им что к чему.

И я поехал дальше.

И догнал эшелон еще до Ленинграда – продолжало везти. Вернее, сперва я его еще и обогнал. Эшелон стоял на полустанке Валя, а пассажирский поезд там не остановился.

...Легким именем девичьим Валя
Почему-то станцию назвали...

В моих будущих «книгах-странствиях» еще окажется достаточно невероятных встреч и совпадений, потому скажу только, что на полустанке Валя в августе сорок первого, то есть ровно за десять лет до того, число в число, наш поезд, следовавший в Ленинград, разбомбили и в упор расстреляли немецкие самолеты. Брат был ранен осколком бомбы, а я и мать отделались смертным ужасом.

Двадцать четвертого августа пятьдесят первого года я промчался мимо полустанка Валя и полковника Соколова, радостно-торжествующе размахивая бескозыркой из открытого окна.

Во Мге вылез, и часа через два подошел час расплаты.

Я поднялся в штабной вагон и по всей форме, но сияя полной луной, доложил, что курсант такой-то винтовку нашел и прибыл для дальнейшего продолжения караульной службы.

Строевая машина, которая только что поставила ради меня судьбу на кон, взяла винтовку, вытащила обойму, с облегченным вздохом подкинула ее на ладони – все патроны были цельные. А в те времена и утрата одного-единственного патрона считалась преступлением.

– Молодец! Теперь чепухой отделаешься, – сказал полковник Соколов. – Двадцать суток простого ареста после прибытия в училище. Можете идти!

– Есть двадцать суток ареста! – сказал я, переставая излучать лунное сияние.

Единственный в году отпуск предстояло провести на гарнизонной гауптвахте в некотором удалении от мамы и любимой. А я-то, догоняя эшелон, думал, что полковник преподнесет

мне конфетку на блюдечке за героизм и самоотверженность при выполнении столь боевого задания!

В части мой «подвиг» докатился до ушей адмирала Никитина – начальника училища. И я первый раз в жизни сподобился разговаривать с адмиралом. И даже в его кабинете.

Не знаю, как в армии, а на флоте рядовые знают о высшем начальстве только то, что успевают сами пронаблюдать. Никаких биографических справок рядовым об адмиралах не сообщают. Где он служил, чем занимался, когда и где родился – тьма над Иmandрой. Быть может, в целях конспирации и секретности, а может, из традиции скромности...

Про адмирала Никитина я ровным счетом ничего не знал. И видел-то начальника только из строя в щель между впереди торчащими стриженными затылками.

Непроницаемое, тяжелое лицо, по-монгольски желтоватое. Лицо сфинкса перед Академией художеств. Небольшого роста, но плотный и широкий туловищем.

Через много лет я наткнулся в книге моториста 1-й Краснознаменной, ордена Нахимова I степени бригады торпедных катеров Валентина Сергеевича Камаева на такие слова:

«23 февраля 1937 года командир дивизиона капитан 3 ранга Борис Викторович Никитин сообщил, что мы будем служить в особом дивизионе торпедных катеров, оснащенных новейшей военной техникой, позволяющей атаковать корабли противника, не имея на борту людей, а выводить катера в атаку будут специальные самолеты, с которых им будут выдаваться команды по радио. Очень часто место оператора в самолете-водителе занимал сам командир дивизиона Борис Викторович Никитин – удивительный энтузиаст новейшей военно-морской техники...»

Вот перед лицом этого энтузиаста мы с полковником Соколовым вместе и предстали, ибо были вызваны к нему «на ковер».

Разговор получился короткий:

– Полковник, как вы этого фокусника накажете?

– Двадцать суток простого ареста с содержанием на гарнизонной гауптвахте, товарищ адмирал!

– Вместо отпуска, получается?

– Так точно, товарищ адмирал!

– Куда ты собирался ехать в отпуск?

– Никуда, товарищ адмирал, я здешний, ленинградец.

– Мать жива?

– Так точно, товарищ адмирал!

– Десять суток, полковник. Пусть мать повидает.

– Есть десять суток, товарищ адмирал! – сказал полковник Соколов, и мы с ним повернулись налево кругом и парадным шагом выкатились из парадного адмиральского кабинета.

Борис Викторович Никитин прошел всю войну на самом отчаянном и дерзком – на торпедных катерах. Затея же с управлением катерами по радио – заводка двигателей, их реверс, маневрирование, торпедный залп, постановка дымзавесы при отходе – в боях проверена не была. Но не потому, что аппаратура и отработка применения ее были плохи. Просто господство в воздухе принадлежало длительное время противнику, и он сбивал летающие лодки типа МБР-2 (морской ближний разведчик, модель вторая), с борта которых должно было осуществляться управление катерами. Не в этих деталях, однако, суть дела и суть адмирала Никитина. Ведь в основе идеи лежит главный закон лучших русских флотоводцев – победа малой кровью! Сохранить родные души, уберечь матросов и лейтенантов от любого лишнего риска.

Как все это сочетается с: «Мать жива? Десять суток, полковник...»!

Процедура посадки на губу, оформление ее, была весьма бюрократически занудна. Поглядите, сколько надо было собрать резолюций и отметок на «Записке об арестовании»:

«29 августа 1951 года. Номер роты – первая. Звание и должность – курсант. Кем арестован – командиром курса. Причина ареста – нарушение Устава гарнизонной караульной службы. На какой срок и вид ареста – 10 суток простого».

Наискосок: «По состоянию здоровья может отбывать наказание на гауптвахте. Майор...»

«Принят на ГТВ 29 августа в 16.15. Подлежит освобождению 8 сентября в 16.15. Горячую пищу давать – ежедневно».

«Приложение: Справка о мыльном довольствии. Арестованный удовлетворен мыльным довольствием за август 1951 года. На мытье в бане – 120 гр. На стирку белья – нет. На туалетные надобности – 400 гр...»

Куда мы девали такую массу мыла?..

Продавали мешочникам возле Балтийского вокзала.

На обороте: «В бане был 28.08.51. На арестованном состоят вещи: лента ВМС – 1, тельняшка – 2, кальсоны – 1, трусы – 1, ремень с бляхой – 1, ботинки яловые – 1, носки – 2...» и т. д. и т. п.

...Чтобы оформить справки и резолюции и дожидаться оказии в баню, пришлось потратить двое суток. А отпуск-то летит, ребята разъехались, и ты валяешься в пустом кубрике.

В город арестованного даже добряк Дон-Кихот не выпустит. И маме уже отписал, что среди лучших из лучших отправлен в секретную командировку за границу и мама должна гордиться замечательным сыном и его боевыми успехами.

Ленинградская гауптвахта в те годы находилась на Садовой улице впритык к площади Искусств. Здание губы не дотянуло сотни метров до того, чтобы вылезти на эту замечательную площадь фасадом.

Приятно, сидя на губе, сознавать, что рядом стоит вдохновенный Пушкин, рядом оперетта, Русский музей, филармония и шикарный отель «Европейская». Или нет, Пушкина тогда еще не было...

Хорошее место для размышлений о соотношении искусства и жизни, красоты и решеток галерей внутреннего двора гауптвахты! Эти галереи тянутся вдоль каждого этажа, и путь в коридор, из которого ты уже попадаешь в камеру, обязательно пролегает по ним.

Ты идешь без ремня и без шнурков на «гадах» – очень эстетичный вид. Позади, гремя связкой ключей, следует мичман-надзиратель.

Морда у него зверская, но, как помню, он был даже добродушен. Во всяком случае, незлобен, а вернее всего – индифферентен. Кличка – Бармалей.

Мичман-надзиратель – штатный работник исправительного заведения, ему уже все надоело, и он уже видел все и вся на этом свете, кроме Русского музея и филармонии. Он видел настоящие и поддельные истерики, хамство смелых и наглую трусость, и трусость слезливую, и слышал смертные угрозы и жалкие заискивания – всего не перечислишь.

А вот караул сменяется каждые сутки.

Я и сам бывал на карауле гарнизонной гауптвахты раньше. Караул назначается из воинских частей города по очереди, с тем чтобы возможно большее число воинов воочию ощутило то, что такое гауптвахта и как там весело. Чаще в караул назначают курсантов – будущих офицеров.

Выводить арестованных по нужде, или делать «шмон», то есть обыскивать камеры в поисках махорки и спичек, или осуществлять подъем воинов в пять утра, выдергивая из-под упрямых и бесстрашных матросов «самолеты», – не очень-то приятное дело. («Самолет» – пляжного типа лежак, но на ножках. Ног две и только на хвостовом конце фюзеляжа. Головной торец укладывается на узенькую, в две ладони, скамью, которая идет по периметру камеры. Скамья сделана узкой, чтобы ты на ней не засиживался. «Самолеты» же после сигнала побудки уносятся из камер.) Служить на гауптвахте нештатно, то есть стоять там суточный караул, на мой вкус, еще хуже, нежели там нормально сидеть. Ведь к профессии, не исключая тюремщика,

надо привыкнуть, а разве за сутки привыкнешь обыскивать, например, людей? Попробуйте сделать это хотя бы в шутку с приятелем. Потому наиглавнейшее, о чем думаешь, когда прутья и переплетения стальной решетки галереи мелькают слева по борту, а по корме звенят ключи мичмана-надзирателя, это простой вопрос: с кем окажешься в камере? Набьют тебе коллеги рожу для начала или пронесет? А побить могут, если в камере окажется хронический шалун-матросик, от которого ты отбирал папиросу полгода или год назад, когда был выводящим.

Но мне продолжало везти.

В камере оказались двое старшин второй статьи. Они продемонстрировали отличную строевую выучку и выправку, когда вскочили и стали по стойке «смирно» при появлении в дверях мичманюги со зверской мордой. Они сделали стойку получше медалированного овчара на собачьей выставке.

Как только дверь захлопнулась и замок щелкнул, старшины уселись на пол камеры и продолжили прерванную мичманским вторжением игру. Они даже не поинтересовались, протаскил ли я курево или спички.

Скоро выяснилось, что арестанты имели то и другое в изобилии, потому и не поинтересовались.

А я, используя опыт караульного и выводящего, зашил в штаны – суконные второго срока, то есть в уже вытертые и выношенные, как мои коленки, штаны – спички, обломок чиркалки и курево. Не будем уточнять, куда и как я это запрятал, – вдруг новичок-надзиратель прочтает.

Играли старшины в занятную и самобытную игру. Увы, мало кому ныне она доступна. Для игры необходим дощатый пол, а у вас паркет.

Два игрока садятся на одну и ту же половую доску в разных концах камеры на максимальном удалении друг от друга, широко раскинув ноги в стороны. Игровой инвентарь – тяжелый шар, слепленный из хорошо пережеванного черного хлеба низшего сорта. Шар закаменел и будет, пожалуй, потяжелее бильярдного.

Характер игры военный. Надо поразить наиболее уязвимое место партнера. При этом вы не имеете права бросать шар. Он должен катиться по доске, ни разу не подскочив на ней.

Для определения точности попадания не нужно ни видео телемонитора, ни другой сложной финишной современной техники. Если попадание точное, то партнер в автоматическом режиме, без всякого участия подлого и лживого сознания, восклицает: «Ой!!!» Потом он некоторое время матерится, с неподдельной опять же злобой и азартом перебрасывая шар из руки в руку и прицеливаясь для обратного отомстительного броска.

Продолжительность игры ограничена только крепостью нервов партнеров и их, так необходимостью на флоте, выдержкой.

Вопросы генетической наследственности в те времена еще не мучили наши умы и не мешали спать по ночам, ибо гены еще были зловещим бредом мировой буржуазии и космических космополитов. Потому я и принял участие в игре.

Без шуток: очень сложная и азартная игра! Надо обладать большим опытом, чтобы пустить шар строго по доске, ибо если шар чуть захватит стык с соседней доской и при этом попадет противнику в ногу, то партнер получает право на двойной бросок. Тут даже не только опыт нужен, но и талант, и искусство. Я вышел из игры довольно быстро. Потому что у меня не оказалось ни первого, ни второго, ни третьего.

В силу этого я на следующие сутки попросился на работу. Не знаю, как ныне, а в сентябре пятьдесят первого года арестованные простым арестом могли работать, а могли и не работать – по собственному желанию.

Мои коллеги пачкать руки грязной тачкой не хотели, а я каждое утро отправлялся к Красненькому кладбищу – мы строили трамвайную линию на Стрельну.

В шесть утра на Садовой улице возле губы останавливался грузовой трамвай с двумя прицепами-платформами. Мы залезали на платформы и громыхали через пустынный еще и спя-

щий город в Автово. Утреннее путешествие мне даже нравилось. Но вот вечернее – нет. Любой прохожий мог увидеть меня на открытой трамвайной платформе, а известно, что Ленинград отличается от всех городов планеты еще и тем, что каким-то чудом среди трех миллионов жителей на каждом перекрестке встречаешь знакомого, даже если знакомых у тебя жалкая дюжина. И я боялся: до матери докатится, что ее сын не в спецзагранкомандировке, а просто-напросто копается в земле и костях возле Красненького кладбища – трамвайная линия прихватила край сровненного с пустырем многие годы назад захоронения. И экскаваторы иногда выбрасывали на свет божий останки наших предков. А мы разравнивали грунт лопатами и укладывали на подготовленное полотно шпалы.

Первые дни сентября, чудесная погода, листья только-только начинают облетать с деревьев, загородный воздух, ветерок с залива, запах смолы от свежих шпал, шорох камышей в придорожных болотах и иван-чай на пригородных свалках, и добрые женщины – дорожные работницы, с которыми мы таскали шпалы в одной упряжке.

Они по русской древней традиции жалели арестованных матросиков и, хотя сами существовали впроголодь, делились то молоком, то хлебом.

...И пусть солдат всегда найдет
У вас приют в дороге...

Кто мог из арестованных матросиков, платил им по наличному счету в кустах ивняка и среди могил Красненького кладбища. Вероятно, вы понимаете, чего даже больше хлеба хотелось женщинам-работягам в послевоенные времена.

Часовые в таких случаях не замечали исчезновения должника с зоны. Самые отчаянные из ребят этим пользовались и даже срывались в самоволку в город на часок-другой. Круговая порука действовала безотказно, и норму должников и самовольщиков дорабатывали менееотчаянные, проклиная при этом и себя, и самовольщиков.

Начали снижение. Быстро нынче летают воздушные лайнеры...

Самое тягостное на гауптвахте – воскресенья, когда не возят на работу. Тогда в обязательном порядке положена прогулка. Она в том, что вас выводят из камер на зарешеченную галерею и стоишь по стойке «вольно», но заложив руки за спину, с полчаса.

Если из шеренги кто-нибудь вякнет чего-нибудь надзирателю, то мичманюга командует: «Кру-гом! Два шага вперед! Марш!» И шеренга оказывается в положении «носом в стенку». И «гуляет» до самого конца уже в такой позиции.

Симпатичное на губе для моряков то, что утром дают не только хлеб и чай, как испокон веку завтракает флот, но, например, пару картошек с кусочком соленой трески – по сухопутно-солдатскому обычаю.

Мурманск

17.00. Аэродром Мурмашей.

Плюс шесть градусов.

Низкие тучи над согбенными сопками.

Ключья снега у вершин.

Барак-аэровокзал без изменений. Одноэтажное синее деревянное сарайное сооружение. Тошно его видеть.

Автобус зато шикарный. Едем быстро.

Старые знакомцы валуны. Опившаяся болотной водой трава и девонский плаун-папоротник.

Опившаяся болотной водой трава – ядовито-зеленая. Это последний вскрик зелени перед тем, как она начнет исчезать. Это как румянец чахоточного.

Низкорослые деревья. Лиловые доски снегозадерживающих щитов. Лиловые столбы древних линий электропередачи. Лиловые горбы сопки, лиловые тучи над ними.

Лиловое и ядовито-зеленое – красивое сочетание, но это та красота, которую оцениваешь, а не любишь. Намек на любовь может мелькнуть, если думаешь о том, как записать пейзаж. Но когда просто смотришь на него, душа молчит.

18.00. Вырываемся из кручения между сопки к берегу Кольского залива.

Прибрежный поселок. Автобус тормозит. Кого-то высаживаем.

Ничего не узнаю вокруг. Щемящее настроение.

Отсюда первый раз по тревоге ушел на спасательную операцию. Здесь первый раз спустился под воду.

Возле автобуса крутятся собаки.

Тогда, на приходе со спасения, полярной ночью, в пургу, на причале нас тоже встречали собаки. Женщины не приходили встречать. Или им запрещалось, или они ко всему привыкли. Только жена старшего лейтенанта Ханнанова иногда встречала.

Близко не подходила. Ханнанов стыдился сантиментов жены. Она работала зубным врачом.

Ее силуэт в ночной пурге, пробитой мощным лучом прожектора, и силуэт часового на причале, и собаки – прыгают, радуются, знают, что мы их скоро покормим...

18.30. Исковерканная новостройками земля и холодная грязь Мурманска.

Высадка у железнодорожного вокзала. Очередь на такси, но небольшая. Занимаю очередь.

Выпиваю кружку прекрасного кваса и звоню из автомата диспетчеру «Трансфлота». Автомат нормально срабатывает с первой попытки.

«Державино» на подходе. Отдает якорь около двадцати часов.

Еду в такси к морскому вокзалу. Таксист шипит и презирает за маленькое расстояние поездки. Проезжаем под носом «Вацлава Воровского». «Значит, ночевка для меня обеспечена», – на всякий случай отмечаю я, ибо пока твое родное судно не станет на якорь в натуре, с ним все может случиться: имею в виду задержку лесовоза «Державино» на орбите вокруг Скандинавии.

19.00. Сдаю вещи в камеру хранения.

Сажусь на скамеечке на пассажирском причале прямо перед носом белоснежного лайнера. Он в отличном порядке. Только клюзы ободраны якорями, и под ними натекла ржавчина.

Солнце вспыхивает в просвете между тучами и лиловыми сопками западного берега Кольского залива. Прямо мне в лицо. Хорошо, когда солнце. Штук пять голубей шатаются вокруг скамейки. И какой-то сильно пьяненький гражданин плюхается рядом, просит закурить.

К пьяненькому подходит элегантно, по-заграничному одетая дама и энергично бьет его по голове опять же заграничным зонтиком, приговаривая: «Хрясь! Хрясь!»

Гражданин не сопротивляется, только закрывается руками.

И я вдруг решаю не пить весь арктический рейс. Уж больно тяжелая сцена разыгрывается в самом начале пути.

Иду в буфет морвокзала и ем холодную котлету, пью тепловатый кофе. Трезвость. Ни тебе аванса, ни пивной...

21.00. Поехал рейсовым катером на рейд Мурманска. Судов скопилось много. Улитками впились в штилевую, летнюю гладь Кольского залива.

Отлив.

И запах отлива, осыхающего морского дна.

«Державино» выглядит замызганно. Но морда у кобылки славная, доверчивая и добродушная. Шпангоуты кое-где уже обмяты. Увы, скоро они будут обмяты куда рельефнее.

Вся палуба в контейнерах, на контейнерах переходные мостики к баку и два красных пожарных автомобиля. Скоро мрачно-монотонные улицы чукотского Певека украсятся ярковеселыми машинами... Интересно, радуются современные мальчишки пожарам, и вою пожарных машин, и их боевому, тревожному пролету сквозь перекрестки?.. Ничего-то я не знаю о современных мальчишках...

Первый человек на борту «Державино» – девица, остро, заметно пригоженькая. Сидит верхом на чемодане возле траповой площадки. В джинсах. Рядом саксофон. Или какая-то другая труба.

– Где вахтенный матрос?

– Сейчас придет. Я подменяю. Катер скоро вернется?

– Минут через двадцать. Кто из штурманов на вахте?

– Старший помощник.

– Позовите его, пожалуйста. Я дублер капитана на время Арктики.

Она нажала тангетку звонка, но не встала с чемодана.

– Может, вы представитесь?

– Буфетчица. Соня. Списываюсь.

Это и так ясно было, что она списывается. И еще мне было ясно, что я ретроград. Ибо поймал себя на том, что, как человек в футляре, не одобряю позу женщин «верхом» – будь это на чемодане, велосипеде или лошади и будь они в джинсах или даже в ватных штанах.

– Как звать старпома?

– Спиро Хетович.

Спиро... в «Листригонах» Куприна есть Спиро. Греческое имя...

– Он грек?

– Нет, албанец. Простите, я волнуюсь перед разлукой и потому все спутала. Капитан у нас албанец. А он русак, заяц-русак. Вон идет, – кивнула она кудрявой головкой на высокого, вернее, длинного и сутулого человека, который не так шел, как плелся по палубе. Ему было далеко за пятьдесят.

Девица, глядя на зайца-русака, начала безмолвно гримасничать. Ее личико передернуло судорога, тик, пляска святого Витта, беззвучный сардонический смех.

– Приветствую вас, Спиро Хетович, – сказал я и представился.

– Она вам так меня назвала? – спросил старший помощник, старательно отводя глаза в сторону от бывшей буфетчицы.

– Пошлая шутка. Меня зовут Арнольд Тимофеевич Федоров.

– Простите, – сказал я.

Девушка прыснула. А я наконец догадался, что «Спиро Хетович» происходит от спирохеты.

– Чтобы хулиганить под занавес, не надо мужества, – строго сказал я девушке. Мелькнул в ней сквозь красивую внешность легкий цинизм. Впрочем, и роза покажется циничной, если ее засунут в неподходящий букет.

– Для вас приготовлена каюта помполита, – сказал старпом, когда мы пошли в надстройку. – Его не будет.

– Первые помощники перед ближним каботажом часто прихварывают, – сказал я.

Арнольд Тимофеевич явно не одобрил мое замечание. А дело в том, что Арктика ныне в век НТР совсем не то, что в век «Челюскина». И потому помполиты считают, что раз тут не заграница, то и без них обойтись вполне можно.

– Ключ у стармеха, – сказал Арнольд Тимофеевич. – Иван Андриянович. Вы с ним плавали. Капитан на берегу. Супругу встречает. Она с нами поплывет. По специальному разрешению кадров. По персональному разрешению, – последнее он подчеркнул с гордостью за капитана.

Вслед нам от трапа донесся звонкий и дерзкий девичий голосок:

– Ведь командор повесить уже хочет Фрондозо на зубцах высокой башни! Без права! Без допроса! Без суда! И вас здесь та же участь злая ждет!

Я посчитал эту декламацию предупреждением в свой адрес. И неожиданно ощутил сожаление от того, что эта Соня не идет в рейс. Даже нечто такое, как ощущаешь в юности, когда чужой и неприятный парень на танцах уводит вальсировать твою избранницу.

Встреча с Андриянычем оказалась теплой. А когда-то не ладили. Я только начинал становиться торговым моряком, работал вторым помощником, ошибался много, вероятно, испытывал комплекс неполноценности, а такой комплекс мешает не только самому, но и соплавателям.

Андриянычу пятьдесят восемь.

Хорошенький получается средний возраст старшего командного состава на «Державино»! Я оказываюсь самым молодым.

Андрияныч открывает апартаменты. Дурацкая каюта – койка возле дверей и нет столика у изголовья. Значит, пепельницу и предсонную книгу – на стул. Но стулья на качке улетают к чертовой матери. Вспоминаю, что девяносто процентов рейса пройдет во льдах. Там качать не будет. Тогда бог с ним, со столиком у изголовья. Зато каюта просторная. Ходить из угла в угол будет можно.

Андрияныч приглашает на чай. И отправляется его готовить.

Незаметно мы уже перешли на «ты».

Вспоминаю его прозвище: «Ушастик» – за большие оттопыренные уши при маленьком росте и чрезмерном любопытстве к личной жизни окружающих. Моряк и механик отличный.

Осматриваюсь.

На полках в шкафчиках, в рундуках, в диване – тысячи политических, профсоюзных, комсомольских брошюр.

Близко за окном каюты виден грузовой контейнер. На торце контейнера марка иностранной фирмы – голенькая женщина с кругленькими бедрами сидит на фоне моря с факелом в руке, у ног дамочки петух в боевой позе, на горизонте – парусник, внизу крупными буквами «ВЕРИТАС». Очевидно, «истина» – так я, во всяком случае, считаю, ибо есть «ин вино веритас» и есть старинная страховая компания с таким названием.

Дамочка, петух и парусник будут попутчиками до самой Чукотки.

Пью чай с вкусными гостинцами у Андрияныча. Семейство провожает его в море соленьями и вареньями. Вспоминаем, естественно, совместные подвиги в прошлом.

Главный подвиг – чисто мифологический.

Дело в том, что Андрияныч в конце какого-то долгого рейса решил продуть фановую магистраль. И попал с этим мероприятием в конфуз.

Согласно спецположению, эксплуатация магистрали – старпомовское дело, но заведует им четвертый механик, а отвечает в целом за все «машина», то есть «дед».

Технология прочистки магистрали проста. Надо перекрыть галюны – это дело палубы. И дать в магистраль давление – это дело «машины». Тогда дрянь, застоявшаяся в трубах, будет вышвырнута за борт на радость рыбам.

Старпом возражал против мероприятия, ссылаясь на отсутствие схем магистрали. И Иван Андриянович принял всю ответственность. Он не сомневался в успехе.

На каждый галюн выделяется человек, который на всякий случай следит за поведением стульчака. Иван Андриянович обошел судно и убедился в том, что на страже бодрствуют моряки, которым такое занятие, вообще-то, было куда более приятно, нежели мазать кисточкой ржавый борт. Андрияныч не заглянул только в свой персональный каютный санузел. По принципу: сапожник без сапог. Удовлетворенный проверкой, он спустился в машину, чтобы лично руководить продувкой.

Когда все это дело продули, я как раз направлялся на ужин в столовую. И теперь могу сказать, что видел, вослед за Гераклом, Авгиевы конюшни. Они находились в каюте старшего механика. Причем густая жидкость затопила и рундук, где хранился рулон гипюра, купленного в Сингапуре в подарок любимой супруге.

– Викторьч! – проревел Иван Андриянович, заметив мою старательно сочувствующую, гнусную рожу (нос я зажимал в горсти правой руки со всей возможной силой – как жмут резиновый эспандер).

– Виктор Викторович! – ревел стармех, хотя обычно он говорит тонким дискантом. – Если вы об этом в газету напишете, я вас жизни лишу!

Он имел в виду стенгазету «Альбатрос», которую я с омерзением редактировал.

– В газету не буду, Иван Андриянович, – уклончиво прогнусавил я и подло хихикнул, намекая на то, что использую эпизод большим тиражом.

Конечно, и наши женщины, и дедовские мотористы предложили (правда, без чрезмерного энтузиазма) помощь Ивану Андрияновичу. Но у него был морской характер.

– Сам, маслопупый дурак, виноват, сам расхлебывать буду, – сказал он, разделся до трусов и полез в конюшню.

Когда все лишние зрители убралась в столовую команды на кинофильм «Я шагаю по Москве», я тоже разделся до трусов и пошagal к деду.

Мы вычистили конюшню в четыре руки...

Любое прошлое сближает людей. А тем более воспоминания о подобном происшествии, с которого мы начали беседу.

На «Державино» у Ивана Андрияновича в спальной каюте по диагонали натянуты были проволоки. Я удивился: зачем? Оказалось, он заразился от капитана любовью к вязанью и плетет замысловатые, оригинальные авоськи из морских веревочек-каболок. На проволоках он распинаят их в начальном этапе производства.

– Супруга в магазин с такой соленой авоськой пойдет, меня лишний разок вспомнит, – объяснил Андрияныч.

Он явно недоволен, что драйверу Фомичеву разрешили взять жену в арктический рейс, а ему нет. Ушастик знает Фому Фомича как облупленного. Тем более и дачи у них в Лахте рядом. И очень тянуло Ушастика выложить мне про Фому пикантные сведения, но пока только предупредил, чтобы я не заговаривал с капитаном об автомобилях, шоферах, особенно пья-

ных шоферах, и трубах большого диаметра. 1) Около года назад Фомичев попал в автомобильную катастрофу и разбил свои «Жигули». 2) Около пяти лет назад пьяный шофер с трубовоза предложил Фомичеву двенадцать труб диаметром девяносто сантиметров и длиной двенадцать метров – весь груз – в обмен на четвертинку водки. Фомичев знать не знал, зачем ему эти гиганты, куда их применить, но погнался поп за дешевизной. И вот пять лет половину дачного участка Фомичева занимают эти мастодонты, наполовину уже вдавившись в лахтинскую почву.

Андрияныч произвел подсчет (на то он и механик) средств, необходимых для эвакуации труб в ближайший овраг: автокран, тракторные сани, тягач, рабочая сила. Вышло около тысячи рублей.

Результаты вычислений Ушастик доложил капитану. Фома Фомич вычисления механика тщательно проверил и заявил, что он скорее закопает своих мастодонтов вертикально, чем потратит на их эвакуацию такую космическую сумму.

Затем я попросил Ивана Андрьяновича сообщить какие-нибудь нюансы о списавшейся буфетнице, ибо она тревожила мое живое воображение («нюанс» – любимое словечко Андрьяныча).

Сонька, оказалось, появилась, когда стояли в ремонте. С музыкальной трубой. Трубу купила после того, как посмотрела фильм «Дорога». На ремонте было много свободных помещений, и Сонькины гаммы никого не тревожили. Когда вышли в рейс, соседи по каюте вынудили Джульетту Мазину искать для репетиций какое-нибудь удаленное помещение.

Она отправилась на самый нос судна – под полубак, устроилась под трапом, высунула трубу за борт и отдалась искусству.

«Тут такой нюанс: шли, ясное дело, в тумане. Зундом. Фомич и Спиро, то есть Арнольд Тимофеевич, ясное дело, были на мостике. Слышат туманные сигналы встречного судна прямо по носу. А на радаре, ясное дело, никаких отметок – чисто все впереди: Сонька-то радиоволны не отражает... Застопорили ход, потом дали “задний” и удерживаются на месте – все по правилам. Встречное продолжает дудеть в опасной близости.

Вызвали опытного маркони, чтобы он объяснил им такой странный нюанс: рядом гудит встречный, а на экране чисто. Начальник радиации крутил-вертел радар, потом говорит, что встречное не видно, так как оно в мертвой зоне, – это и ежу должно быть понятно, а не только капитану со старшим штурманом.

Тогда Фомич говорит, что они уже полчаса на “стопе” стоят и любой другой олух должен был мимо проплыть, и из мертвой зоны выйти, и пропечататься на экране радара, если мозги у радиста есть, а радар в порядке.

“А может, говорит начальник радиации, на другом-то судне, на том, которое гудит, так вот на том, говорю, судне, быть может, такие же, как мы, олухи на “стопе” стоят! Как они тогда могут из мертвой зоны выйти?” И они так вот обсуждали этот вопрос, пока Сонька спать не пошла.

Потом все выяснилось и трубу от Соньки отобрали. А она перешла на художественный свист. И еще все время пела “Замучен тяжелой неволей”. А тут такой нюанс: дед Соньки у Котовского заместителем был по политчасти. И Сонька свистит, и все!..»

Если в чем нынешние моряки еще суеверны, чего не любят и не терпят на судах, так это свиста (свистом раньше призывали ветер в заштилившие паруса, он вообще обозначает ветер). И вот Сонька усекла этот факт и свистела и днем и ночью во всю ивановскую, и доводила Фому Фомича и Арнольда Тимофеевича до полубморочного состояния. Перед Мурманском старпом не только ходил по противоположному от Соньки борту, но и бегал от нее вокруг трюмов – и тут такой нюанс: впервые в жизни потерял сон. А капитан Фома Фомич Фомичев как-то осторожно заметил, что «таким, значить, обслуживающим персонам из женского персонала нельзя санпаспорт выдавать», на что он, Иван Андрьянович, между прочим, сказал, что это они сами девку до такого свиста и вообще безобразия довели...

К концу нашего с дедом чаепития вернулся с берега капитан.

Жену Фома Фомич Фомичев не встретил.

На лбу шрам после автомобильной аварии.

Первые слова: «Рад очень, значить. Вдвоем-то полегче будет. Давно в Арктике не работали. Избаловались. Это я про супругу с дочкой – они избаловались. Дочка, Катька моя, на курорт рвется, значить, на Азовское море. Не пушу. Как бы из этого курорта, значить, не вышло бы аборт...»

Роста Фомич чуть ниже среднего. Одна треть Фомича – ноги, а две трети – тулово. Ежели он в приспущенных штанах и в тапочках, то нижние конечности не превышают одной четверти всей его длины. Тулово сбито крепко: недаром у англичан драйвер обозначает и коногона.

Полночь. Конец первых путевых суток. Вернее, я нахожусь в пути на этот момент десять часов тридцать минут. А кажется – уже неделя прошла.

До двух ночи просматривал грузовой план и другие документы по грузу. Потом заснул мертвым сном.

Утром отбываем на катере за спецпособиями.

У морвокзала встречаем жену Фома Фомича. Приехала не тем поездом, или напутали с телеграммой. Сидела на той же скамеечке, где я вчера ожидал подхода «Державино». Зовут Галина Петровна. Глаза грустные.

Фома Фомич отправляется с ней обратно на судно. А я – в Службу мореплавания Мурманского пароходства на обязательный инструктаж.

Комедия. Показывают кальку ледовой аэроразведки района к норду от Новой Земли – вот и вся информация. Нет. Еще вручают список фамилий, имен, отчеств капитанов линейных ледоколов и их дублеров.

Ясно одно – Карские Ворота и Ю-Шар забиты льдом наглухо и мы должны идти в Карское море, огибая мыс Желания с севера...

Деликатно напоминают, что балтийским судам разрешается пребывать в Мурманске не больше восьми часов. Оригинальное и достаточно суровое разрешение. Суть: уже в Ленинграде должен быть полностью готов к Арктике, и потому нечего тебе выклянчивать у мурманчан зимние шапки и водолазов для осмотра винтов...

Да, никого из старых товарищей я не успею встретить здесь. Трансфлотовский шофер высаживает на улице Ленина. Перехожу ее и начинаю восхождение на крутую сопку к Дому книги. Сразу за асфальтом улицы начинается пересеченная местность.

Сердце бьется и хвост трясется, когда одолеваю сопку и вхожу в огромный, абсолютно пустынный, современный Дом книги. Пустынный не только потому, что покупателей нет ни одного, но и книг нет.

Вдруг – под слоем некосмической пыли – сборник «Судьбы романа».

Уношу его с собой. Среди авторов сборника Мишель Бютор, Колдуэлл, Клод Прево. И стенограмма дискуссии о судьбах романа в Ленинграде в августе шестьдесят третьего года. Я там был и мед-пиво пил. Правда, не потому, что меня туда пригласили. Меня с великолепной наглостью проводил и на заседания, и под конец на банкет один мой друг. Вероятно, из-за того, что ехал я на симпозиуме зайцем, ничего хорошего не запомнил. А от банкета осталось: итальянский романист (фамилия неизвестна) в «Астории», сильно под мухой, на спор прыгает через двадцать лестничных ступенек, прыгает удачно и потом пьет фужер водки за свою победу.

Мне такое итальянское беспутство нравится, и я аплодирую. Рядом Вера Федоровна Панова. Говорит, строго поджимая губы:

– Мне кажется, Виктор Викторович, вы забыли нашу первую встречу.

И я прекращаю аплодировать, ибо первую встречу не забыл. Ужасная была встреча. Вера Федоровна вызвала на беседу, после того как я попросил ее прочитать мой очередной опус.

– Во-первых, сядьте поплотнее, а то вы свалитесь, – сказала Вера Федоровна, когда я, потный от страха, притулился на краешке стула.

И вот я уселся поплотнее. Вера Федоровна неторопливо и тщательно надела очки и уставилась в мой опус:

– Во-вторых. Это вы написали, здесь вот, страница шестнадцать: «Корова, которую купил отец, вернувшись с фронта, сдохла»? Вы это написали?

– Да, – сказал я и прыснул, ибо в молодости был смешлив. И ясно вдруг представил, что моя корова обороняла Москву и дошла до Берлина, а вернувшись с фронта, бедолага, сдохла. Вообще-то, мы с рождения знаем, что смех – дело заразное, и, когда один хохочет, другие начинают улыбаться. Но Панова не улыбнулась. Она была полна строгости, суровости и только еще больше поджала губы.

Никакого юмора, если дело идет о святом! Правильно это или неправильно – вопрос спорный, вообще-то. Но не для Пановой. Что ж, человек не может быть одинаков всегда. Ведь сама Вера Федоровна призналась в последней книге, что отдавала должное живительной силе улично-трамвайного анекдота.

На симпозиумном банкете Вера Федоровна тоже сказала мне ядовитую штуку:

– Вы сильнее всего там, где не стараетесь быть обаятельным, то есть не кокетничаете.

Выйдя из книжного мемориала на мурманской сопке, я не удержался и прямо под открытым небом посмотрел именной указатель в «Судьбах романа». Начал, как вы понимаете, с «К». Меня там не оказалось. Джозеф Конрад есть, а меня забыли! Безобразие! Опять завистники – вот и все! Или меня не помянули, ибо я на симпозиуме зайцем ехал? Смотрю на «П». Панфедоров Федор есть. Пановой – нет. И я утешился.

Сползаю с сопки, досматриваю по дороге к порту киоски «Союзпечати». В одном среди уцененной макулатуры обнаруживаю Щедрина: «Пошехонские рассказы», «Недоконченные беседы». Трачу рубль и две копейки за три здоровенных тома. Нельзя сказать, что Салтыков у нас дорогое удовольствие. Наконец-то я его прочитаю. Пока знаю великого сатирика только через мужика, который прокормил двух генералов.

Добавляю к томам сатирика четыре плитки шоколада «Сказки Пушкина». Пушкиным торгует мороженщица одновременно с эскимо.

Впереди в очереди стоит мальчишка лет пятнадцати, просит прикурить. Чиркаю зажигалкой. Он дымит и пропускает меня перед собой, говорит ломающимся баском, солидно: «Бери вперед, отец!»

Отвратительно, что оценка твоего возраста с внешней стороны и внутреннее самоощущение не совпадают. И потому следует старательно талдычить себе: «Не глазей на эту девушку. Она считает тебя старой перечницей...»

Теперь следовало навестить парикмахерскую – и я готов к арктической навигации.

К сожалению, полубокс не получается, ибо в парикмахерской у морвокзала обеденный перерыв.

Рейсовым катером на «Державино». Там кавардак. Путаница со сменой экипажа. Приезжают люди с разных судов. У троих не пройдена медкомиссия, у четырех нет справки по КИПам (кислородно-изолирующим приборам), нет печати на санпаспорте у четвертого механика... А приказ отойти до полуночи – кровища из ушей, но исчезнуть из Мурманска этими, так быстро текущими сутками.

Фома Фомич Фомичев нервничает, трепыхается и все время повторяет, ища у меня моральной поддержки: «Мы, значить, не почту возим! Куда лететь-то, голову, значить, сломав?...»

Его супруга легла спать после дорожных потрясений.

На борту нет доктора. Забурился где-то в городе. Появляется под мухой. К моменту оформления отходных документов выясняется, что:

а) доктор первый раз в жизни на пароходе; б) первый раз идет в море; в) доктор сам не проходил комиссии в Ленинграде и вообще не имеет санпаспорта.

За полстакана спирта на него оформляется пассажирская судовая роль. Получены вода, овчинный тулуп, бункер, пять шапок, пять теплых роб и две куртки на вате...

Фома Фомич показывает мне отходную диспетчерскую РДО для штаба на Диксоне. Там он указывает, что ужасно слабым местом судна (по устным данным прежнего капитана) является район борта справа у машинного отделения. Отговариваю давать такую РДО: не следует с места в карьер раздражать штаб сообщениями о слабости какого-то борта, у какого-то «Державино», по данным какого-то капитана и еще до того, как мы увидели хоть одну льдинку, – в штабе ледовых проводок на Диксоне сейчас кутерьма куда больше и серьезнее нашей судовой; товарищи там сразу подумают о явной перестраховке и начнут потом относиться к «Державино» с подозрением и уничижением.

Андрияныч держится на отходе с олимпийским спокойствием. И мы опять чаевничаем, теперь в моей каюте. Конечно, и того и другого дергают по всяким делишкам, но это не мешает Андриянычу рассказать об отце Андрея Рублева, нашего матроса из Архангельска. Отец Рублева прославился еще с довоенных времен великолепным упрямством. В сороковом он служил действительную в северных краях. Мороз был сорок. Объявили форму одежды номер шесть: шапка обязательно с опущенными ушами. Папа нынешнего Рублева заявил, что ни один помор в такую тропическую жару опускать уши казенной из веревочного меха шляпы не станет, и отгулял увольнение не по форме. Прибыл из увольнения уже не в часть, а в госпиталь, с огромными пузырями вместо звукоприемников.

Погиб в войну еще глупее, но с каким-то чисто поморским, космическим спокойствием. Был матросом на транспорте. Шли с Исландии. Торпеда. Транспорт затонул за две минуты. Сосед архангелоса (так Ушастик зовет всех уроженцев Архангельска) по кубрику утверждал, что от взрыва Рублев номер один умудрился не проснуться. И сосед шестьдесят секунд потратил на то, чтобы его все-таки добудиться. Но признать факт потопления своего родного судна архангелос отказался, перевернулся на другой бок, обматерил соседа, закрыл голову одеялом – погиб вместе с судном. Легенда или быль – не знаю. Но хорошо, что сын чудака плывет с нами и мы будем делить с ним не одну ночь и не одну ледовую перемышку. Андрияныч утверждает, что наш Рублев Андрей в точности повторяет своим космическим упрямством папу.

Под соусом всей этой травли стармех мне подсунул «Правила технической эксплуатации дизелей при плавании во льду». И ввернул о том, что при работе на мелководье, в шторм, с буксиром и на буксире судовые дизеля ведут себя особенно. Намек я понял. И поблагодарил за предупреждение...

Прибывают лоцман и портнадзор. Шорох с ними и стенания обеих сторон. С помощью некоторой подмазки договариваемся, что наш отход они оформят двадцать третьим июля, а на самом деле отходим уже 24.07. 01.00.

Начало выяснения отношений

В Кольском заливе штиль.

Солнце опускается только за самые верхушки сопок.

Три колена в Кольском заливе. И три раза псевдозакатная солнечная кутерьма переходит с борта на борт.

По свинцу вод – розовые размытости. Гористо-сопочные берега на фоне закатных полыньих угольно-черные.

Знакомые мысы и названия. Тяжесть утесов. Нигде не чувствуешь так вес Земли, как при виде береговых гранитов, обрывающихся в воду. Ругань лоцмана – капитан порта изобрел для близкого родственника должность «лоцмана по загрязнению окружающей среды», но залив от этого не стал чище.

Лоцман о литературе:

– Чепуха. Нет хороших книг. Пишут те, кто не хочет работать. Легкие деньги – вот и пишут.

Проходим Ваенгу и остров Сальный, Полярный и Большой Олений. И над открывшимся морем Баренца видим низкое свободное солнце. Солнце в три часа ночи. По синему морю Баренца течет бело-холодное мерцание полночного светила. И я вспоминаю Ломоносова.

Ложимся на сорок шесть градусов – один длинный курс через все Баренцево море – на мыс Желания.

Растаял в тумане Рыбачий... Прощайте, скалистые горы...

Проходим Кильдин. Гляжу в бинокль на камни Сундуки. Страшные минуты пережиты там. Обидно, что куда-то запропастились документы, которые хранил после окончания следствия по делу о спасении нами СРТ-188.

...Искореженная сталь логгера, сползая с каменной подводной террасы, на которую он выскочил с полного хода в тумане, стонала и скрипела. Стоны и скрежет отдавались в пустых помещениях таким жутким эхом, что сразу вышибали из мозгов мысли о второй половине двадцатого, технического века, о международных конференциях по спасению человеческих жизней на море и таких гениальных придумках, как надувные жилеты, которые были тогда на вооружении.

Вокруг была тьма, волны, пена. Судно уходило в мокрую могилу кормой вперед; мы карабкались по уступам надстройки. И оказалось, что нужны только воля каждого, сила духа, владение дыханием, хладнокровие, расчет, умение превозмочь дурноту и тошноту и другие рожденные страхом ощущения; превозмочь их, оставаясь все время человеком, то есть заботясь о более слабом; отступать, только убедившись, что позади не осталось никого; веруя в исполненный до конца долг и непрерывно ощущая приближение страшного, но чем-то уже знакомого, виденного, пережитого уже, быть может, в кошмарном сне, то есть ощущая приближение смерти. И крик внутри: «О, так это и бывает? Нет! Только не со мной! Я еще буду рассказывать обо всем этом! Еще буду вспоминать все это! Нет, я-то не поскользнусь, нет! Кто угодно поскользнется и сорвется, но не я! На мне резиновые бахилы с нарезной подошвой! Я молодец, что не надел валенки! Резина, если давишь ею сильно и прямо, не скользит, и я не поскользнусь! Я еще буду все это вспоминать!» Но не всегда можно ступить прямо и сильно, когда лезешь по внешней стенке ходовой рубки и видишь, как волна первый раз хлестнула в дымовую трубу ниже тебя. Но видишь плохо, потому что ресницы смерзаются, руки коченеют, одна варежка потеряна, а сердце все чаще дает перебои, легкие в груди сдавлены страхом и усилием мышц, теснящих ребра. Легкие не могут вздохнуть, сердце зашкаливает, тогда слабеют ноги, им не помогает резина, скользит подошва по мокрой, обледенелой стали, глохнет

бессмысленный крик, пухнет череп, пальцы еще несколько мгновений цепляются за что-то, а дальше ты уже ничего не помнишь.

На мой рассказ о гибели СРТ-188 стармех Иван Андриянович выкладывает свою новеллу. И делает это без традиционного в таких случаях запоздалого юмора.

На буксире в Северном море обеспечивали перегон трофейного немецкого дока: «На поворотах слону хвост в нужную сторону заносили, нетактичная работа...»

Зима, тяжелый шторм, скисла машина, вода в МО (машинном отделении). Капитан неосторожно сказал при молодом матросе, что при крене в тридцать градусов на такой волне и при таких нюансах судно теряет остойчивость. Из-за этих неосторожных слов тот матросик сошел с ума.

Они все время смотрели на кренометр и ждали конца. А стрелку кренометра иногда заносит по инерции и за сорок градусов. Рехнувшийся маниакально стал стремиться убить старпома – бросился с пожарным топором. Трижды вязали и запирали в каюте, и трижды он вылезал, хватал топор и находил старпома – «шпиона и вредителя». Сдали в клинику в Ростове. А он выпрыгнул со второго этажа ночью, нашел судно и опять бросился на старпома. Тот стал заикаться.

Первый раз в аварийной новелле я слышу настоящий ужас правды. О таком и так моряки говорят редко.

Когда в разгар шторма у Андрияныча один из цилиндров двигателя начал цеплять металл юбки и кромсать его, то дед оттягивал и придерживал юбку цилиндра обыкновенной веревкой, а судно несло на камни, где уже разбилась землечерпалка и погибли двенадцать человек.

В Баренцевом море пока мертвый штиль.

И если судно и покачивается, то это как бы не на всей толще вод, а только на коже океана.

И, возможно, поэтому наш драйвер, наш капитан Фома Фомич Фомичев, молчаливо выслушав наши жуткие воспоминания и тщательно обдумав их, неожиданно сказал:

– Эт все что! А вот у меня, значить, когда на моего «Жигуленка» автопогрузчик наехал и его на клыки взял, и нас на крышу поставил, и не поставил, а, врать не буду, так, значить, и шмякнул в бетон, – так пока я без сознания пребывал, то кто-то из портовой охраны из багажника портфель упер: замечательный портфель, настоящей кожи, а там у меня рубашка лежала, в портфеле этом, мать его... Настоящая рубашка там хранилась – полотняная, не нерлон-перлон! Я б ему, суке! Я б ему, кабы он мне в руки попался, охранник этот!

И здесь лицо Фомы Фомича сделалось здорово похожим на противотанковый надолб.

– Не так «Жигуленка» жаль, – продолжал Фома Фомич, потирая затылок, – как рубашку эту... Ну, тут, значить, вру: автомобиль, конечно, больше жаль. Однако за «Жигуленка» возмещение рано-поздно получу, а за рубашку что? Кукиш!

Самое странное, что если совсем честно признаться, то мне после гибели логгера, то есть среднего рыболовного траулера номер сто восемьдесят восемь, не так было жаль судна, как погибшего с ним вместе нашего аварийно-спасательного имущества: «галoши-слон – восемь пар, мотопомпа шестсот – две штуки, вельбот спасательный – один, ракетный пистолет “Вери” – один» и т. д. Правда, я так за это имущество переживал еще и потому, что чуть было за него статью не получил...

РДО: «АМДЕРМЫ 54645 1115 ТХ ДЕРЖАВИНО КОПИЯ ДИКSON
НМ КАШИЦКОМУ СЛЕДУЙТЕ ОБЫЧНЫМИ НАВИГАЦИОННЫМИ
КУРСАМИ РАЙОН МЫСА ЖЕЛАНИЯ ТОЧКУ 7710/7130 ЛОЖИТЕСЬ
ДРЕЙФ ОЖИДАНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ СЛЕДИТЕ ЧТОБЫ
ВАШЕ СУДНО НЕ БЫЛО ОБЛОЖЕНО ТЯЖЕЛЫМИ ЛЕДЯНЫМИ

ПОЛЯМИ РАЙОН ОЧЕНЬ ДИНАМИЧЕН ТЧК ПОДТВЕРДИТЕ = 24/66
КНМ ВАКУЛА».

Среди синего моря отдыхает под полуночным солнцем рыжий от ржавчины двухмачтовый рыбачок. Вокруг него правильным кольцом кружатся чайки – как белая граммофонная пластинка.

Рыбаки, верно, не слышат чаячьих криков, подумалось мне, оглохли от них, привыкли и теперь не слышат, не замечают... И я давным-давно не слышал чаячьего крика – сидишь в рубке, отделенный от вод, небес и морских птиц сталью и стеклом... Когда я последний раз слышал чайку, вернее, дал себе отчет, что слышу ее крики? И не вспомнить...

ЁНичего, полярные чайки отличаются повышенной крикливостью и меньшей пугливостью. И скоро я их услышу, и их гуано украсит иллюминаторы моей каюты...

25.07. 19.00.

Вышли на видимость полуострова Адмиралтейства.

Солнце. Синь. Свежесть.

Как соединить нежную прозрачность с суровой тяжестью, свирель с грохотом горного обвала, акварель со сталью? Вот если можно соединить такие несоединимости, то получится впечатление от северных берегов Новой Земли. Зализанные плавности ледников, сползающих с вершин гор, и обрывистые вопли береговых круч. Бесследно растворяющиеся в нежной голубизне вершины и четкость берегового уреза. И розоватость неуловимой дымки.

Ветер южный, три-четыре балла.

Весь день изучал инструкции по плаванию в Арктике, по борьбе за живучесть, по связи. Чем больше читаешь таких штук, тем страшнее. В этом и есть один из их смыслов: не забывай, парень, о серьезности дела, тебе порученного.

Позор, но я забыл многие обозначения, необходимые для быстрого чтения ледовых карт и калек авиаразведок. Остальные «нюансы», как говорит Андрияныч, вспоминаются легко и укладываются на нужные полочки в черепа аккуратно.

Боцман принес зимнюю шапку, чтобы содержимое черепа не простыло. Отличная шапка.

Ожидание приближения схватки со льдом. И, как всегда, хочется, чтобы опасное произошло скорее. Ход – тринадцать узлов.

«ПРИКАЗ ПО Т/Х «ДЕРЖАВИНО»

На основании должностной инструкции дублеров капитанов судов на время плавания в Арктических водах, утвержденной нач. пароходства 11.07.74 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

На время плавания на трассе Северного морского пути дублер капитана Конецкий В. В. обеспечивает безопасность плавания, непосредственно осуществляет управление и маневрирование судном при самостоятельном плавании во льдах и в караванах за ледоколом с 00.00 до 06.00 и с 12.00 до 18.00.

Капитан (Фомичев)

С приказом ознакомлен:

Дублер капитана (Конецкий)

24.07.75».

Собачье время стояния – с полночи до утра – я предложил ему сам: он старше меня, плывет с супругой, переживает автокатастрофу и т. д.

Овчинный тулуп нам с ним положен один на двоих. Ну что ж, значит, в уже нагретый влезать будем, будем не только друг другу вахту сдавать, но и своим теплом обмениваться.

21.00 – НАВИП – два айсберга на курсе нашего следования в назначенную точку ожидания. Оба в четырех милях к северу от северной оконечности Новой Земли – от островов Большие и Малые Оранские.

Пока же только розовые от низких лучей солнца чайки качаются на ультрамариновой слабой волне.

В открытом море взгляд привыкает главным образом к горизонтальным линиям. Горизонталь горизонта, горизонтальное глобальное движение волн, горизонталь облаков и слоев тумана, даже полет морских птиц обычно сугубо горизонтален. И потому с особенной силой обнаруживается мощь и особая суть земли. Твердь организуется вертикалями: морщины горных ущелий, сползание ледников, обрывы и прибрежные камни – все сечет привычность горизонтальности и тем с огромной силой увеличивает эмоциональность прибрежно-морского пейзажа.

РДО: «БОРТА 04 178 СК46 26 1405 ВЕСЬМА СРОЧНО ВСЕМ СУДАМ СЛЕДУЮЩИМ ЗАПАДА НА ВОСТОК ВЫХОДИТЬ 7630/7230 ЭТОЙ ТОЧКЕ ЛЕД 2/4 БАЛЛА ДАЛЕЕ ДОСТУПНЫМ ГЛУБИНАМ ОБХОДИТЬ РАЙОН МЫСА ЖЕЛАНИЯ СЛЕДУЙТЕ НАЗНАЧЕНИЮ ТЧК ВСЕМ ПУТИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЛЬБИНЫ ТУМАНЕ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ = КНМ ВАКУЛА».

Неужели всего трое с половиной суток назад я сидел на травке возле аэропорта?..

Все РДО (радиограммы), начинающиеся словом «борт», означают, что поступают к нам с небес, с самолетов ледовой разведки. «КНМ» в конце означает «капитан-наставник».

Фамилия летающего в небесах капитана-наставника настойчиво вызывает в памяти гоголевского кузнеца Вакулу.

над Новой Землей. Оно совсем белое, а берега бредут на его фоне понурыми призраками.

За утренним чаем разговор о роли возраста для капитанской удачи. Я шел Северным морским путем на восток первый раз в 1953 году штурманом. В 1955-м – ровно двадцать лет назад – капитаном малого рыболовного сейнера.

Андрияныч утверждает, что у молодых меньше аварий. И действительно, тогда прошли на Камчатку все малюсенькие суда – около трех десятков, а среди капитанов не было никого старше двадцати семи лет.

Фома Фомич свою точку зрения утаивает.

Самый северный мыс Новой Земли не мыс Желания, а мыс Карлсена.

Обидная дутая популярность мыса Доброй Надежды (ибо самый южный в Африке – мыс Игольный) повторяется на Крайнем Севере. Бедный скромный Карлсен...

Спросил у старпома про приборку в каюте на минуту раньше, нежели увидел, что приборку уже делает дневальная. Позвал электромеханика чинить выключатель настольной лампы, а она оказалась исправной. Два случая недостаточной выдержки.

Близко идет «Урюпинск».

Попутное или встречное судно в штилевом безбрежье океана кажется бесплотным мотыльком.

Получили первые факсимильные карты ледовой обстановки по данным аэроразведки. Эти карты так пропитаны йодом или какой-то другой химией, что нельзя потом трогать глаза.

Читал «Толкование Правил по предупреждению столкновения судов» А. Н. Коккрофта. Перевод с английского капитанов дальнего плавания Брызгина, Володина, Факторовича под редакцией Николая Яковлевича Брызгина.

Есть такое замечание:

«Все лица, которые имели непосредственное отношение к любой аварии на море, должны помнить о том, что их могут вызвать в качестве свидетелей в суд, который может состояться спустя несколько лет после происшествия. Они могут подвергаться перекрестному допросу, и если не смогут припомнить многое из того, что произошло, то окажутся в глупом положении. Поэтому при первой возможности следует сделать подробную запись. Следует принимать во внимание, что личная запись, представленная свидетелем в суд, может быть использована как доказательство любой из участвующих сторон...»

«Лорд Хэршелл в 1893 году заявил... Виконт Финлэй в 1921 году заявил...» – занятно встречать такие обороты.

Занятно и то, что и путевые записки, даже если автор привирает в них, через десяток лет уже становятся доказательствами для любых сторон истории, ибо даже ложь есть истина исторического момента.

12.00–18.00. Как раз все мои шесть часов ушли на форсирование первой перемычки.

Густой черный туман при солнце и штиле. Лед толщиной до двух метров, три-четыре балла, большие поля старого льда. В самый напряженный момент прилетел самолет, и мы вышли на связь с ним на первом канале «Акации» и мило побеседовали с товарищем капитаном-наставником по ледовой проводке Виктором Семеновичем Вакулой. Он прилетел к нам из Амдермы, оглядел поле боя и дал координаты точки, куда мы и последовали, тыкаясь в поля и выворачиваясь между ними.

Бежевые, толстые, брюхатые, теплые нерпы или тюлени плюхались со льдин в малахитовую воду при нашем чухающем приближении. Разнообразные птички ныряли и прыгали в штилевой водичке.

И все было привычно и мило.

Кроме двух минут, когда мы не смогли вывернуться и дали «полный назад», но все равно пхнули черное ледяное поле в поддых, и оно сразу дало нам сдачи. Но мы не обиделись, ибо все так и положено.

Итак, пусть маленькая и слабая, но первая перемычка позади.

Это, конечно, не настоящий лед – как бы обнюхивание, но бабки подбить следует.

Начнем с «Державино»

Крутится отлично, чуткая лошадка и добросовестная. Плох обзор. Он плох даже с крыла мостика, не говоря о том, что с центрального окна ходовой рубки вообще ничего вперед не видно. Мощная мачта и две мощные к ней подпорки плюс мощная стрела для тяжеловесных грузов – все это вместе не дает возможности рулевому видеть прямо по курсу ровным счетом ничего.

Да и нам тяжело. Когда шофер управляет автомобилем, сидя слева или справа от оси симметрии, то это на маленьком автомобиле и на земле. Управлять стометровой (высота Исаакия с крестом вместе) лайбой, вертясь среди льдин и имея возможность глядеть вперед только с краешка мостика, не очень-то удобно.

Немного привыкнем, как привыкает шофер, пересевший с малолитражки за баранку КраЗа. Но до конца, до полного удобства и уверенности тут не привыкнешь. И некоторые крепкие слова в адрес корабелов-проектировщиков на языке крутятся.

Тетя Аня (Анна Саввишна) – наша буфетчица

Колорит в чистом виде: «Ране дефки юпки насили, а коли в бабы выйде, так сарахван, а ноне?»

Очень добрая и славная. Ей только-только пятьдесят, но считает себя этакой погибшей уже для вселенной и человечества девой.

Главный бзик тети Ани в том, что панически боится насилия. Широко известно, что на судах, где она работала, ее якобы пытались изнасиловать, но пока она выходила сухой из этой ужасной воды.

Имеет кота Ваську, кастрата. Раскормленный, черно-белый, как гусеница. К коту испытывает симпатию Арнольд Тимофеевич Федоров. Ей-богу, у старпома особое отношение и к хозяйке. И это интимно-особое он переносит и на кастрированную гусеницу.

Давно существует отличительный признак для определения начала сумасшествия моряка – он стучит в дверь собственной каюты, прежде чем в нее войти. Мне кажется, что на почве застарелой девственности тетя Аня иногда близка к этому состоянию.

Ее рефрен: «Надо сало кушать – организму очищает!»

Бессребреница. Обязанности, дела и всю посуду приняла у Соньки за пять минут, ничего не считая и не пересчитывая.

Ребята утверждают, что Сонька возрыдала и сама выдала тайны нехваток: и сколько простыней рваных, и сколько графинов разбито.

Внешняя повадка такая. Переступить порог кают-компания не может прямо и по-человечески. И с миской супа и без миски Анна Саввишна переступает порог, широко качнув над порогом бедрами, как старомодный пилот на «У-2» крыльями; одновременно она еще вздергивает голову высоко и своенравно – мол, вы! которые здесь сидите! я вам, бездельники идармоеды, насильники и фулиганы, дам прикурить!

Короче говоря, в момент пересечения порога кают-компания тетя Аня смахивает на клодтовских коней с моста ее имени в Ленинграде (имею в виду Аничков мост). И каждому командиру, сидящему за столом, становится ясно, что если он полезет ее насиловать, то тетя Аня при первом удобном случае выльет претензионщику за шиворот миску горячих кислых щей. И не миновать ему этой кары, как и сковородки затем в аду.

Начало насильнической мании тети Ани, по данным Ушастика, таково. Любому флотскому человеку известна мазь «слоанс». Это жутчайшей жгучести и ядовитости мазь. Существует «слоанс» и в виде жидкости. На флаконах и на картонной упаковке изображен один и тот же мужчина с мощными черными усами. Моряки считают его изобретателем и зовут Трейд Марк. На инструкции к мази изображен во весь рост еще и голый мужчина. В том полном смысле слова «голый», что на нем и кожи нет – только мышцы. И к каждой мышце нарисована стрелка и название болезни. Чтобы вы, узнав название своей хвори, знали, куда «слоанс» втирать. Если, например, эта жуткая мазь попадает вам в глаз, то считайте, что вы его больше не увидите. Излечивает мазь от массы безнадежных болезней, ибо через минуту после начала втирания ее выначисто забываете обо всех болях, кроме одной – от мази.

Еще на заре морской карьеры наша тетя Аня предприняла попытку вылечить легкую поясничную невралгию «слоансом». Обладая, как я уже говорил, врожденной широтой натуры, молоденькая Анечка подливки не пожалела и плеснула на поясницу с русским размахом.

Дело было поздним вечером в океане, а жила Анечка в каюте одна. Потому обратиться за экстренной помощью, когда снадобье подтекло ниже ватерлинии, не могла ни к кому.

Да и вообще положение Анны Саввишны было, по образному выражению Ивана Андрияновича, «пикантный нюанс».

Пометавшись по каюте, поподвывая, смочив всякие места водой из умывальника, тетя Аня открыла иллюминатор, влезла на стул и высунула обнаженную корму на ветер, полагая,

что час поздний и никого на ботдеке, куда выходил ее иллюминатор, не будет, а океанский ветер хоть немного облегчит борьбу с адски жгучими усами мистера Марка.

На ту беду, лиса близехонько бежала... Была это, правда, не лиса, а капитан. И никуда он не бежал, а прогуливался по ботдеку, так как страдал весьма закономерной для моряков болезнью, имеющей причиной малоподвижность. И капитан преодолевал болезнь променадом. Он, конечно, знал, что экипаж все про все знает, включая его хворь. Именно поэтому картинка в иллюминаторе действовала на капитанскую психику особенно угнетающе. Он усмотрел в нейгнусный и подлый намек. И шлепнул по картинке с полного размаха.

Именно с тех пор, утверждает Иван Андриянович, тетя Аня никогда не плавала на судах, где у капитана есть усы. Тут такой нюанс: у того капитана, как и у мистера Трейда Марка, были могучие черные усы. И именно после того прискорбного случая, как утверждает Иван Андриянович, у нее и началась мужебоязнь.

Не следует забывать, что все анекдоты смешны только уже после того, как мы их переживем, – это заметила мадам Тэффи, кормилица Михаила Михайловича Зощенко (по его собственному признанию). И потому ни я, ни Иван Андриянович не смеялись, когда обменивались информацией и наблюдениями по поводу тети Ани.

Рублев, сын Рублева

Матрос первого класса. Год рождения 1944-й – отец зачал его перед уходом в последний рейс. Учится заочно в средней мореходке в Ленинграде. Великолепный рулевой и вообще моряк, но упрям и своенравен – и тем опасен.

Можно ожидать, что, заорав: «Больше право!», ты вдруг увидишь, что судно забирает больше лево, ибо архангелос с тобой не согласен и считает, что ему, как рулевому, лучше знать, куда ехать, и вообще он один понимает «Державино» до глубин лесовозной души.

Кажется, Фома Фомич так обрадовался тому, что я сам предложил стоять с ноля до шести не из-за того, что может спокойно ночь спать, а потому, что с архангелосом не будет иметь контактов.

Рублев сделал в памяти Фомы Фомича прободную язву.

Делал он ее так. Стояли они однажды на якоре далеко от берега. Там сильные приливные течения. Рублев на шлюпке с подвесным мотором шел с берега, куда был послан за кинофильмом. Уже близко от судна заглох мотор. Фомич, который наблюдал за мореплавателем с мостика, заорал, чтобы, значить, Рублев разобрал весла и догребал к борту старинным и испытанным способом.

Рублев, сын Рублева, категорически отказался в разгар научно-технической революции пачкать руки веслами. И принялся копать в моторе. Пока он пачкал руки машинным маслом, нашел туман и течением шлюпку унесло. Связались с берегом, объявили поиск. В море вышли катер, буксир и большой охотник. Три часа ищут, четыре, пять – нет Рублева. Ветерок, конечно, крепчает и все такое – по всем подлым морским законам. Ясное дело: перевернулась шлюпочка. Или – такое предположение тоже было – попал под браконьеров и они его пришили, как нежелательного свидетеля.

Ночь Фома Фомич метался по мостику, терзаемый мыслью: сообщать в пароходство или еще, значить, подождать?

Под утро – стук мотора – идет из-за мыса Рублев. Ему на пересечку бросается большой охотник, палит от радости в небеса из тридцатисемимиллиметровки, подает Рублеву буксирную веревку. Тот категорически от помощи отказывается, ибо знает международное морское право: «Если бы я тогда у них буксир принял, то за спасение в открытом море платить бы пришлось, а так – фиг им: “Без спасения – нет вознаграждения”...» (Закавыченные слова когда-то

даже стояли эпитафией к «Договору о спасении», и все это действительно так, но никто ничего, конечно, за спасение Рублева брать бы не стал, и все это полная чушь, то есть характер...)

Оказалось, с мотором шлюпочки был порядок, а полетела шпонка, крепящая винт; Рублева течением унесло в тумане к чертовой бабушке, аж за Третий остров, но до весел он все равно не дотронулся. Там, у чертовой бабушки, на Третьем острове, упрямый трескоед нашел охотничью избушку, в избушке кусок стальной проволоки, заменил шпонку, расклепал ее каким-то чудом, закрепил винт и своим ходом вернулся на родное судно.

Меня удивил тем, что часто и к месту цитирует майора Горбылева, то есть читал (и крепко читал!) Щедрина, которого я купил за рупь в Мурманске и только начинаю изучать на старости лет.

Во всех несчастьях своих и мира винит тещу. Теща из глухой рязанской деревни. Отца тещи зарубили на деревенской свадьбе. Мать тещи сошла с ума от горя, задушила сына и погналась за шестилетней тещей Рублева. Та удрала. И Рублев все жалеет и жалеет об этом факте, ибо этот факт для него прискорбный. Еще Андрей утверждает, что именно его теща развязала первую мировую войну.

У него удивительный талант имитатора. А может, это называется чревовещательством. Он говорит голосом любого члена экипажа и орет воплем любого зверя.

Когда мы пихнули льдину в перемычке, раздалось плачущее причитание тети Ани:

– Ах, тошенька! Ах, лиханька! Раз молодые што папала тварят, так и старые бесяца!

– А вы что тут, черт побери, делаете?! – заорал я на тетю Аню, носясь с крыла на крыло мостика. – Брысь отсюда!

Но она не убралась, ибо через минуту опять запричитала:

– Самалет ляти! Впяряди прямо! Ах, лиханька! Ах, тошенька!

Действительно, впереди вынырнул из туч самолет с кузнецом нашего счастья Виктором Семеновичем Вакулой. И только тогда, оглядевшись, я понял, что тети Ани нет, а есть этот подлец-имитатор, который стоял на руле с совершенно бесстрастной физиономией и наглухо закрытым ртом.

Второй помощник Дмитрий Александрович Строганов

Младше меня лет на пять. По диплому – капитан дальнего плавания, работал старшим-помощником на крупных судах, включая пассажиров. Где-то у него удрал – дезертировал с судна – боцман. И Саныча «смайнали», как говорится на морском языке о тех, кого понизили в должности.

Работать в паре с таким моряком спокойно и приятно: за битого двух небитых дают! Он с сильной сединой, высокий и красивый. Мне кажется, что мы встречались. И это «кажется» мучает, как застрявшее в зубах волокно говяжьей жилы, когда нет ни зубочистки, ни спички...

– Трудно после старпома опять грузовым помощником работать? – спросил я его. Дело не о психологии шло, а о самой работе.

– Нет, – сказал он. – У меня хорошая память. Не мозг в голове, а запоминающее устройство. Хотите, скажу цены в Дакаре на семидесятый год? Пятьдесят американских долларов – шестнадцать тысяч местных франков. Это заработок крестьянина за год. Бутылка импортного датского пива – полтора американских доллара. Сто грамм арахиса – двадцать франков.

– Почему именно эти цифры назвали?

– Не могу видеть голодных. Скажите, как может прожить крестьянин на пятьдесят долларов в год? Знаете, тот, кто в Сенегале имеет барана, по-нашему имеет как бы «Москвича» последней модели...

Старший помощник Арнольд Тимофеевич Федоров, он же Спиро Хетович, он же Степан Разин

Из шести вахтенных часов два я провожу с ним.

Ловлю себя на том, что боюсь писать внешность Арнольда Тимофеевича. Рука не поднимается. Боюсь, не смогу быть отстраненным при описании, объективным.

Есть мужчины, у которых плечевой пояс, сама спина, поясница и зад представляют одну плоскость, а от этой идеальной вертикальной плоскости отходит под определенным углом к горизонту длинная шея, а на шее висит голова с редкими волосами сивого цвета. У подобных мужчин нижняя половина тела напоминает четырехугольную арку Колизея, ибо ноги втыкаются в тулово на значительном – сантиметров в пять – расстоянии одна от другой. Сократить это расстояние никакой фасон и покрой брюк и никакой портной не в состоянии. Колизеевскую арку имеет и Тимофеич.

При обострении ледовой обстановки моментально уюривает с мостика в штурманскую рубку.

Когда ситуация разряжается, возвращается и деловым тоном докладывает: «Прошли шесть миль!» (Это он рассчитывал среднюю скорость.) Или: «Нанес по “Извещениям мореплавателям” новую глубину в проливе Матиссена у островков Скалистых. Четыре метра глубинка, а ее только обнаружили! Вот и работай тут!»

Я: «На кой ляд вы носитесь с глубинами возле островков Скалистых, если мы там и близко не будем? Не знаете, что корректура карт – дело третьего помощника? Еще раз убедительно прошу не покидать мостик и следить за льдом с правого крыла».

Отскакивает от него. Страх? Но страх чего? Ответственности? Или глубинный, всепричинный, поедающий душу, возрастной?

Кроме «Спиро Хетовича» по судну бродит и еще одна данная ему кличка: «Разин». Эта дана ему на контрапункте. Ничего бессмысленного морячки на языки не пускают, хотя внешне иногда кажется, что в их трепе полная чушь... Что прямо противоположно Степану Тимофеевичу Разину? Трус. И здесь за Арнольдом Тимофеевичем надо глядеть в четыре глаза – не по Московскому водохранилищу плывем...

Пятьдесят семь лет. Бывший военный, давно получает пенсию капитан-лейтенанта. Служил в гидрографии на Севере в промерных партиях. Вероятно, отсюда недоверие к любой глубине на карте. «Я знаю, как их меряют!» – говорит Арнольд Тимофеевич с многозначительностью посвященного человека. И ясно делается, что сам он мерил глубины отвратительно. И потому не верит ни одной на карте.

Главнейшее удовольствие для Арнольда Тимофеевича – посеять сомнение и поднять переполох. А на море существует закон, по которому каждый судоводитель обязан прислушиваться и как-то реагировать на высказанное другим сомнение и опасение в чем угодно.

И вот про такой закон Арнольд Тимофеевич сладострастно помнит. Ну вот, к примеру, везут автокраны на палубе, и в море автокраны покачиваются, ибо они, естественно, на рессорах. И тут старпом замечает, что у автокранов есть четыре штатных домкрата, но эти домкраты не опущены. И сразу он подсовывает сомнение капитану в том, что качания автокрана опасны и надо обязательно опустить домкраты. И вот выгоняются на палубу люди, и начинают изучать устройство автокрановых домкратов, и пытаются опустить их, но машины стоят тесно, и домкраты мешают друг другу опуститься. И тогда начинают вырубать чурки и вбивать их на упор под краны и т. д. ... А ведь автокран для того и существует, чтобы качаться на своих рессорах по самой ужасной проселочной дороге. И крану и судну от качаний автокрана ничего не будет, но... а вдруг? И люди уродуются, а Тимофеич счастлив – он заметил значительное, он проявил знание и предусмотрительность, он – на месте! И вот, чтобы доказать самому себе и другим,

что он на месте, Арнольд Тимофеевич ищет, ищет, ищет, где бы высказать опасение, посеять сомнение, – и наслаждается, если найдет.

Жена старпома Арнольда Тимофеевича (Разина, Спиро Хетовича) давно неврастеничка и психопатка. На берегу в родном порту он домой не ходит. Имеет сына, с которым в «политическом» конфликте. Имеет внука, которого, конечно, любит.

Стармех Иван Андриянович старпома терпеть не может. Их каюты рядом, и каждый щелчок ключа в дверях Разина бьет по ушам стармеху, а я уже говорил, что человек он ушастый, – иногда напоминает мне слоненка: сам маленький, а уши большие. Старпом же щелкает ключом беспрерывно, ибо запирает каюту, даже выходя к третьему штурману за кнопкой или скрепкой.

Второй механик Родниченко Петр Иванович

Кое-какую информацию получил о нем от своего друга Ниточкина. Они когда-то вместе плавали.

«Вполне созревший фрукт научно-технической революции, – сообщил мне Ниточкин, когда прослышал, что я получил назначение на “Державино”. – Знает дело и современный мир. Был стопроцентным технократом, уже когда плавал у меня четвертым механиком. Усвоил, что подделка наукообразности под диалектику легко вводит окружающих в нужное тебе заблуждение. Помню, отвозили мы наследников в пионерлагерь. И возвращались из Рождествено на Сиверскую, уставшие, конечно, в дачном автобусе-трясучке. Успели забраться первыми и уселись на отдельном заднем сиденье. А вокруг набилось с полсотни дачных женщин с авоськами, бидонами и мешками. Положение стало пиковым: сидеть – морально тяжело, а физически – опасно. И вот он, друг-блондин, вдруг хватает меня за рукав и орет: “Коллега, если смещать магнитный пучок по оси ординат и взять интеграл от плюс до минус бесконечности, то можно добиться смещения географического полюса, как по “а”, так и по “це”! Если же дифференцировать, введя постоянную Больцмана... Ты меня понял?”» Вот так он орал, мой второй механик, и тряс меня за плечо.

Вокруг мрачно и угрожающе дергались и качались полсотни дачных женщин, и ничего не оставалось, как заорать в ответ: «Нет, коллега! Нет! Ты не прав! Надо повернуть постоянную Больцмана по оси абсцисс!..» – «Тупица! – заорал он мне – капитану! – и понесся дальше: – Девиация мягкого железа, измеренная на уровне малой воды методом Ландау, дает возможность обойтись без закона Бойля и Мариотта, смещая постоянную Больцмана на “це квадрат”...»

Минут через десять самая вредная и дошлая баба все-таки поставила ему на плешь бидон с молоком, но он этого как бы и не заметил и продолжал сомнамбулически орать свое. Еще через пару минут другая дамочка все-таки рушится на повороте мне на колени. И ничего не остается, как с обновленной силой взвыть: «Ты прав, старик! Из уравнения Пуассона и кривой Гаусса логически вытекает вакуум Нобиле, а если разложить их всех в ряд, то можно обойтись и без дифференцирования...»

Так мы проехали около часа и вылезли живыми, но я психически не совсем здоровым, потому что давным-давно выдохся и бормотал какую-то элементарщину, что, мол, достаточно извлечь кубический корень из Метагалактики – и все в мире станет на место... Да, Витус, народ науку уважает, хотя и знать не знает, куда она его ведет. Главное – она ведет».

Окромя вышеизложенной информации про второго механика Родниченко мне известно, что он спас кота тети Ани. Судно поставили на фумигацию, то есть накачали в какой-то зерно-семенной груз смертельного газа, и экипаж покинул пароход. И вдруг выяснилось, что Васька не эвакуировался. И перезревший плод НТР нацепил противогаз, облазил судовые закоулки с ручным фонариком, нашел Ваську и выволок на свет божий. На мой вопрос, что было в этой

операции самым отвратительным, Петр Иванович сказал, что самое отвратительное – невозможность и бессмысленность ругаться, когда на тебе намордник...

Ну, а теперь о главном герое и нашего рейса, и моего повествования. О капитане «Державино» Фоме Фомиче Фомичеве.

Ему придется посвятить всю следующую главу. Она представляет собой, говоря ученым языком, контаминацию. Слово это латинское. Обозначает оно смешение двух или нескольких событий при рассказе, вкрапливание одного события или литературного произведения в другое. Для лингвиста же слово это обозначает возникновение нового выражения из двух частей или нескольких выражений. Например, неправильное выражение «пожать удел» есть контаминация двух выражений «получить в удел» и «пожать плоды».

Ядовитая девица Соня Деткина придумала для некоторых героев из экипажа теплохода «Державино» определение – «нудаки». Это есть контаминация двух слов: «нуда» и «дурак». Такой контаминации и сам Щедрин бы позавидовал.

Вообще-то, я всей этой книге хотел дать название «КОНТАМИНАЦИЯ». Отговорили. Литературно, мол, манерно, претенциозно, выкаблучивание; не очень образованные читатели с «компиляцией» будут путать, и так далее.

Начать же книгу хотел как раз с той главы, которая сейчас последует. Опять отсоветовали. Легкомысленно для начала, пустой треп и не без безвкусицы; будет отпугивать утонченного читателя грубостью некоторых выражений. А по мне: пусть отпугивается...

Но, с другой стороны, вся книга дневниковая. Почему и зачем? А потому, что Чехов сказал: «Нужно, чтобы для читателя... было ясно, что он имеет дело со знающим писателем».

Вот мне и приходится еще раз предупредить вас, читатель, что масса истинных деталек, и черточек, и происшествий, которые на самом деле были и случались, заложенная в книгу, превращается уже в так называемое в логике СОБИРАТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ, то есть в совокупность, которую следует рассматривать как такое целое, которое имеет уже совсем свои особые свойства, вовсе даже иногда отличные от свойств составляющих элементов. Потому утверждения и угадывания, относящиеся к совокупности, не могут быть отнесены к этим документальным деталям, черточкам и происшествиям.

Фома Фомич в институте красоты

1

Фоме Фомичу Фомичеву снился оптимистический сон. Назвать сновидение можно было бы «Куда я еду?». Снилось ему дочка Катенька в трехлетнем возрасте. Как она впервые села на трехколесный велосипед. И поехала, но, как рулить, не знает и не понимает. И вот едет Катенька прямо в стенку дома и кричит: «Куда я еду?!» Но все крутит и крутит ножками. Вполне бессмысленно крутит, но крутит и – бац – в стенку.

Фома Фомич во сне рассмеялся, разбудил смехом жену Галину Петровну, она разбудила его, он хотел рассказать супруге про сон, но она слушать не стала и выгнала его досыпать на веранду.

Проснувшись утром на веранде от птичьего гомона, Фома Фомич с приятностью вспомнил ночной сон, а затем точно установил, что вчера утром шею мыл. Поэтому принял решение нынче ее не мыть. И по всем этим причинам день для Фомы Фомича начался безоблачно.

Только не посчитайте Фому Фомича нечистоплотным человеком. Он, к примеру, глубоко уважал общественную баню.

Кто-то из великих наших мыслителей заметил, что обычай русской бани есть гораздо более замечательное историческое явление, нежели английская конституция, ибо идея равенства удивительно в ней, в нашей бане, выдержана. Так вот, Фома Фомич умел баню любить и что такое «легкий пар» понимал со всеми тонкостями, являясь, таким образом, демократом мирового класса.

Но ванну и холодную воду (на даче не было теплой) Фома Фомич недолюбливал. Нелюбовь эта проистекала от одного из геройских поступков Фомы Фомича, о котором рассказано будет ниже.

Возможно, давнее героическое происшествие обусловило и еще одну странность Фомы Фомича – во все времена года он носил кальсоны. Но последняя странность может быть объяснена и строгостью таможенной службы. Лет двадцать назад таможня свирепо пресекала ввоз в СССР гаруса и мохера клубками, то есть такого мохера, который продавали в инпортах на вес. И вот для того, чтобы обойти таможню по кривой, Фома Фомич на учился вязать. И вязал из гаруса и мохера (в свободное от вахт и политзанятий время) нижнее теплое белье, то есть кальсоны, трусы, плавки и фуфайки.

В порту прибытия он спокойно, с совершенно чистой душой, надевал три пары собственноручно связанных кальсон и всего другого, затем без всякой нервотрепки проходил досмотр и покидал территорию порта.

Дома, на твердой суше, Галина Петровна распускала кальсоны на их составляющие, сматывала обратно в клубки и реализовывала среди знакомых дам. И вот так – совсем незаметно для самого себя – Фома Фомич втянулся уже и в постоянное ношение кальсон.

Любуясь с веранды видом осеннего цветника, буйствующего после недавнего доброго дождя, Фома Фомич машинально и уже в который раз отметил про себя, что лупинусы растут здесь даром, а у метро в городе их продают по двадцать копеек штука. Эта мысль тоже была приятна. И приятно было привычное легкое щекотание гарусных, собственноручно связанных кальсон, когда Фома Фомич их натягивал на крепкие белые ноги.

В ближайшем будущем ноги должны были покрыться стойким загаром – Фома Фомич загорал на курортных пляжах густо.

И только змей-горыныч на правой ляжке неприятно кольнул хозяина напоминанием, что нынче он едет в Институт красоты, где ему придется навеки расстаться:

1. С когтистым орлом (правый бицепс).

2. Со спасательным кругом, на котором в весьма неприличной позе висела головой вниз и задом вперед то ли нимфа, то ли русалка (грудная клетка – от соска до соска и от сосков до пупка).

3. Со змеем-горынычем, который уже сорок один год пытался дотянуться раздвоенным жалом до коленной чашечки правой ноги.

4. И с разной чепуховой мелочью – якорьки там и сердца, пронзенные кинжалами.

Все это были глупости тяжелого и далекого отрочества. К картинкам Фома Фомич давно привык, не обращал на них внимания, так же как и его жена, дочь и медперсонал бассейновой поликлиники, где Фома Фомич ежегодно проходил медкомиссию.

И вот...

...Господи, до чего одинаковые словечки говорят молодые хорошенькие дочки состоятельных отцов, когда начинают капризничать!

– Гутен морген, папуля! Какой ты сегодня красивый! Прямо Эдуард Хиль!.. Папульчик, я тебя люблю безмерно, но... Ты меня прости, но... Папуль, я буду говорить прямо... Там, в Сочи... возможно... ну, будет один молодой человек, и, прости, папуль, я не хочу, чтобы он видел твою эту, ну, на груди, которая в круге... Мы будем на пляже, и... ты меня понял, папульчик ты мой чудесный...

Фома Фомич вышел в капитаны из семейства железнодорожного рабочего со станции Бологое Октябрьской, а в прошлом Николаевской железной дороги. Он был фезеушником в сорок втором, солдатом в сорок третьем, ефрейтором в сорок четвертом, сержантом на крайнем северном фланге в сорок пятом и сорок шестом. Затем он преодолел среднюю мореходку, вечерний университет марксизма-ленинизма, курсы повышения квалификации командного состава торгового флота, еще один университет и еще одни курсы.

Кто из молодого, длинноволосого поколения думает, что преодолеть все это – раз плюнуть, пусть сам попробует!

Отпустить дочь в первый ее бархатный сезон на курорт одну или с подругой (Галина Петровна жару не переносила по причине гипертонии) Фома Фомич и помыслить не мог.

– Поедет, значить, на курорт, а привезет усложнение ситуации во всей нашей династии, – сказал Фома Фомич в минуту откровенности супруге.

На просьбу дочери о сведении на нет татуировок Фома Фомич ответил не сразу. Он никогда не торопился с ответами и решениями.

– А где это, ну, значить, русалочку мою ликвидировать? – спросил он дочь через неделю.

– Что «ну», папуля? – рассеянно переспросила дочь, примеряя перед зеркалом мини-юбочку, которую Фома Фомич своими руками вынужден был привезти ей из вольного города Гамбурга.

– Тебя ясно спрашивают! – рявкнул Фома Фомич, раздраженный зрелищем мини-юбки на своей Катеньке (на других молодых особах они его раздражали меньше). – Где теперь с этой пошлой пакостью борются?! – заорал Фома Фомич, употребив и несколько крепких слов.

Катенька – интеллигентка, так сказать, уже во втором поколении, сдающая на пятерки экзамены за первый курс Текстильного института (за что ей и был обещан бархатный курорт), – заткнула пальчиками ушки и закрыла глазки. Папулина стрельба тяжелыми снарядами ее не пугала, но шокировала.

– Перестань, папка, права качать! – сказала интеллигентка второго поколения. – Поедешь в Институт красоты. Это на бульваре Профсоюзов, возле площади Труда, – и с пленительной улыбкой открыла глазки и вынула из ушек пальчики.

И от этой пленительной дочерней улыбки по лицу Фомы Фомича скользнула этакая двусмысленная ухмылка. Дочь напомнила ему супругу в юном виде в первый послесвадебный год.

Да, было в такой ухмылке Фомы Фомича что-то от сатира.

Тем более что и некоторыми постоянными чертами лица он смахивал на Сократа. Кроме, конечно, лба.

Известно, что Сократ был из простых людей, имел лицо крестьянское, нос картошкой, а по свидетельству вечно пьяного Алкивиада, похож был то на Силена, то на сатира Марсия. Так вот, если обрить с Сократа бороду и усы да приплюснуть ему лоб до среднечеловеческого уровня, оставив нечто от Силена и сатира, то очень близко получится к Фоме Фомичу Фомичеву: был в нем сатир, был!

Вы, конечно, понимаете, что никакой Сократ даже в ранней юности не стал бы выкалывать себе от сосков до пупка нимфу, а тем более не стал бы ее, на старость глядя, уничтожать; но на какие только сравнения и параллели современный писатель не отважится, чтобы точнее и зримее донести до читателя образ и облик любимого своего героя!

2

Одевшись в темный костюм (сразу после завтрака он решил ехать в город в Институт красоты), Фома Фомич навестил интимный уголок дачного участка. И там, под росным кустом уже отцветающей калины, минут пять обдумывал все детали предстоящего дела. Например: стоит или не стоит сунуть докторше пачку жевательной резинки «Нейви татто»? Жвачка, вообще-то, была бы в жилу. Она американского производства, и ежели наслюнить ее обложку и прижать к телу, то отпечатается вроде как татуировка – пошлый, ненастоящий орел или фрегат под всеми парусами. А ежели потом плюнуть на тело и потереть платком, то вся пошлость легко исчезает.

На завтрак супруга подала отварной картошки со сметаной. И Фома Фомич покушал завтрак с удовольствием и аппетитом.

Катка, конечно, к завтраку опоздала; вышла, зевая и потягиваясь, сказала: «Гутен морген, предки!»

По радио передавали что-то о спорте и Гренобле.

Дочка уселась в качалку, взяла яблоко и спросила:

– Папуль, а Гренобль красивый город?

Фома Фомич сказал, что Гренобль город небольшой, даже просто маленький.

– А у тебя окна в отеле куда были? На Альпы? – спросила дочка.

– А я и не помню, – признался Фома Фомич, подумав при этом, что самый замечательный гальюн в ихних отелях хуже его будки под калиной.

Поблагодарив супругу за завтрак, Фома Фомич отправился по росной траве в гараж.

Автомобиль он приобрел давно, но в силу мокрой профессии ездил мало. С одной стороны, это было хорошо, потому что «Жигули» выглядели новенькими. С другой стороны, это было плохо, потому что Фома Фомич ездил неуверенно и даже иногда с большими страхами. Но все коллеги вокруг, имеющие дачки и дочек в Лахте, автомобилями обзавелись и сами на них ездили. И Катюша доталдычила его – благомысленного отца семейства – до таких чертиков, что...

Первым препятствием был выезд из гаража – очень узкий, по причине окружающих гараж труб большого диаметра. Затем ворота, которые в этот раз Фома Фомич миновал удачно и даже в сравнительно короткий срок – минуты за три-четыре.

Створку ворот придерживала дочка, вся такая свеженькая – прямо бутон розовый, и Фоме Фомичу захотелось ее поцеловать, хотя обычно он к таким нежностям расположения не имел.

– Запомнил, папуль? – сказала дочка. – Бульвар Профсоюзов. Рядом ограда такая высокая, а на ней бюсты-скульптуры негров. По ним и ориентируйся.

– Все будет гутен-морген! – сказал Фома Фомич и покатил в город.

Вопросы эстетики Фому Фомича никогда в жизни не волновали. И потому само название заведения, куда он ехал – «Институт красоты», – маячило ему всю дорогу как-то странновато, отчужденно и несколько тревожно. И он старался затушевать его радиоприемником, введя на полную мощность «Кармен-сюиту» Родиона Щедрина.

Под «Тореадор! Тореадор, смелее в бой!» Фома Фомич миновал дом с бюстами негров на бульваре Профсоюзов и с облегчением убедился в том, что «Института красоты» рядом нет. Есть обыкновенная «84-я косметическая поликлиника».

А когда в подвальном гардеробе он увидел привычные кумачовые лозунги и соцобязательства: «Выполнить производственно-финансовый план 1974 года к 25 декабря! И на отдельных участках отделений план двух лет к 17 ноября!» – то и вовсе успокоился (на морском языке «вошел в меридиан»).

Выяснилось, что в этом учреждении положено платить наличными и закон о бесплатной медицинской помощи в мире социализма в мире эстетики уже не действует. «Сколько сдерут?» – полюбопытствовал в уме Фома Фомич, приглядываясь к обстановке, вникая в нее неторопливо, тщательно и осторожно.

В гардеробе-подвале сновало взад-вперед порядочно народу. И не только женщины, чего Фома Фомич тоже по дороге опасался, но и мужчины, и даже военные.

Гардеробщик сидел в пустом гардеробе, скучая и томясь: погода была еще теплая.

Фома Фомич просмотрел указатель помещений, одновременно краем глаза наблюдая гардеробщика.

В первом этаже поликлиники располагались: «Подводный массаж» – нечто профессионально близкое Фоме Фомичу, затем «Кишечные промывания» и «Грязехранилище» – довольно далекие от его опыта заведения. И, чтобы зря не путаться, Фома Фомич пошел к гардеробщику. Он всегда начинал со швейцара, ибо гордыней отнюдь не страдал.

– Значить, в медицине работаем? – так начал Фома Фомич. – Из фельдшеров небось? К старости-то фельдшерская работа и не под силу стала, угадал небось?

Гардеробщик, который выше медбрата в психиатрической клинике не поднимался даже в свои звездные часы, сразу оживился. А Фома Фомич еще подмазал его сигаретой «Пелл-Мелл». Сам-то не курил, но иногда баловался. И на всякий – такой вот – случай пачечку иностранных сигарет при себе имел.

– Оченно роскошное помещение у вас тут, – намеренно коверкая и те слова, которые он мог бы произнести правильно, продолжал Фома Фомич, восхищенно оглядывая старинную лепку на стенах.

– Особняк купца Родоканаки, турок из Одессы, – объяснил гардеробщик. – Богато жил. На широкую ногу. В процедурных кабинетах у нас на потолках всевозможные старинные украшения – и с голыми бабами и ангелами.

– А вот люблю людей расспрашивать, – сказал Фома Фомич. И не солгал. Он действительно любил с людьми пообщаться. Даже уголовников всегда старался разговорить, когда сводила его с ними судьба на восточных окраинах страны.

Через пять минут Фома Фомич уже знал: 1) Косметологи происходят из венерологов. 2) Все они женщины, но если профессора, то уже мужчины. 3) Татуировки выжигают электротомом, кусками десять на десять сантиметров, и все это без бюллетня. 4) Когда в операционный день много выжигают пациентов, то даже здесь, в подвале, ужасно воняет жареным человеческим

мясом. 5) И даже человеческим жареным жиром воняет, ежели рисунок углубился в кожу глубоко, а пациент толстомясый.

Все эти детали гардеробщик сообщил Фома Фомичу с бодринкой в голосе, чтобы поддержать дух, помочь новичку решиться на мероприятие. Но результат пока получался противоположный.

– Дома после сеанса голый будешь ходить, – продолжал информацию гардеробщик. – Так зарастает скорее. И смазываться будешь по живому пятипроцентным раствором марганцовки – самодезинфекция называется. В ей, в марганцовке, кислород заключается, но болеть будет сильно. Сперва-то они тебя заморозят, да и электричество боль убивает, а дома уже прихватит. Температура подскочит – не боле как до тридцати восьми. Пирамидону купи. Четвертинку засади. Но не боле. А через десять дней следующий кусок жажнут. Теперя так. Если у тебя украшения эти очень замечательные, то иди прямо сейчас в шестой кабинет. Там такая Валентина Адамовна. Она для диссертации самые уникалы в альбом собирает. Ежели твои заинтригуют, так и без очереди пропихнет, а сама наблюдать будет и все такое, но сперва зафотографирует на цветную пленку. У ты цветные картинки или монотонные?

– Монотонные, – слегка крякнув, сказал Фома Фомич.

– Монотонные-то подлые – потому как старинные. А раньше-то, сам знаешь, добротнее делали, на всю глубь. Теперешние цветные вовсе просто выводить. А с монотонными в пятницу летчик-испытатель, герой настоящий, так он не только в обморок брякнулся, но, прости, друг, по секрету скажу: описался! – восклицательным шепотом закончил информацию гардеробщик. – Полчаса отмачивали!

Фома Фомич обдумал информацию, слегка шевеля при этом губами и почесывая за ухом. Он, вообще-то, предполагал, что в век космоса и НТР процедура уничтожения змея-горыныча и русалочки будет проще. То есть настроен он был, как немцы перед блицкригом и «дранг нах остен». И некоторое неприятное неожиданное переживал приблизительно так же, как немцы после разгрома под Москвой. Но духом не упал. И сказал гардеробщику:

– Я очень, значить, извиняюсь, но, кореш мой драгоценный, не описался! Не на того напали. И ты, значить, тут пациентов не запугивай, ты их вдохновлять должен, а ты...

Гардеробщик обиделся и даже растоптал недокуренную «Пелл-Мелл».

– Я очень, значить, извиняюсь, – еще раз повторил Фома Фомич, а про себя подумал: «Ну и черт с тобой, ну и обижайся, а за эту... как ее?.. Валентину Адамовну (он имена и отчества всегда хорошо запоминал, если для дела надо)... за эту ценную информацию – спасибо. Теперь курс прямо на шестой кабинет держать надо».

Валентина Адамовна – толстомясая, лет сорока, вся в золотых украшениях и в тапочках на босу ногу, – как только Фома Фомич закатал рубашку на животе, так сразу засуетилась, помолодела лет на десять, зарумянилась даже от возбуждения и восхищения. А когда Фома Фомич совсем обнажился, то... то все организационные вопросы оказались решенными моментально: вне всякой очереди, сегодня же начнут; все, что товарищ где-то и от кого-то слышал про ужасы (Фома Фомич, конечно, на гардеробщика не ссылался: еще тот, значить, и пригодиться может, незачем его закладывать), безобразно преувеличено; конечно, запах неприятный, но она-то сама его всю жизнь нюхает, а ей молоко за вредность не выдают; от жира, действительно, другой запах, но это как раз и хорошо – это как бы сигнал для врача, что пора остановиться (по-морскому «давать полный стоп»); в обморок, действительно, мужчины падают, но это для них типично: а) потому что к боли непривычны, ибо никогда не рожают, а женщины – рожают; б) в обморок падают мужчины не от боли, а те, кто плохо новокаин переносят или вообще уколов боятся (Фому Фомича за морскую жизнь столько кололи от тропических лихорадок, холер, разных чум и тифов, что он хотя и терпеть уколы не мог, но к ним привык); в) кое-где его изображения можно будет и не сплошь выжигать, а только по рисунку, что вовсе не больно; г) через полчаса его покажут невропатологу для консультации и одновре-

менно невропатолог, друг Валентины Адамовны, его сфотографирует, но без головы: все врачи дают клятву Гиппократу и тайны хранят свято.

Медкарту Валентина Адамовна заполнила на Фому Фомича собственноручно. А затем попросила посидеть четверть часика. Но сидеть не у процедурного кабинета, а где-нибудь поблизости: его потом проведут без очереди, но надо так это сделать, чтобы очередь не развопилась.

«Вот вам, значить, голубчики, и гутен-морген, – подумал Фома Фомич, проходя мимо обыкновенных записанных в очередь, имеющих рядовые, пошлые татуировки или не догадавшихся покурить с гардеробщиком в подвале пациентов. – С черного хода, значить, всегда тактичнее заходить, а вы тут и кукуйте до петухов...»

Беззлобно и благожелательно подумав так, он нашел свободное местечко в уголке под стендом с заголовком «О вреде самолечения» и засел, отирая пот с лысины, – в стрессовые моменты он иногда потел обильно. Ничего в этом хорошего, конечно, не было, ибо приходилось тратить валюту в инпортах на противопотные жидкости. Кроме того, из массы специальных инструкций, в том числе и «О поведении в спасательной шлюпке», Фома Фомич знал вред потоотделения (с потом уходит из организма соль, и вот именно из-за обессоливания люди и отдают концы, а вовсе даже и не от жажды).

Когда Фома Фомич обильно потел, то невольно вспоминал эту инструкцию и испытывал сожаление по той соли, с которой расставался.

– По вопросу потливости, папаша, в пятый кабинет, – хриловато сказала Фоме Фомичу девица, которая сидела рядом. Ее бесстыдные коленки он, ясное дело, видел отлично, но глаз на девицу не поднимал – еще не до конца оклемался в мире эстетики. А тут уж пришлось поднять. Рожа у девицы оказалась такой же бесстыжей, как и коленки. По роже тянулся от уголка левого глаза до середины щеки шрам. Шрам, ясное дело, был заштукатурен всякими пудрами. «Из приклатненных», – сразу засек Фома Фомич.

– Где ж это тебя, пригожая, значить, подпортили? – ласково поинтересовался он. – И каким это, значить, перышком?

– А вот, папаша, и не перышкам, – так же хрипло и высокомерно сказала девица, – обыкновенный коготь.

– Ишь ты, – сказал Фома Фомич, – чуть без глаза, значить, не осталась. Коготь-то чистый был аль наманикюренный?

– Разбираешься, папаша, – одобрила знания Фомы Фомича девица и в виде награды подернула двадцатисантиметровую набедренную повязку к самой, простите, талии. И у Фомы Фомича даже в голове зашумело, как шумит от первой рюмки после длительного сухого периода.

– Не фулигань, – хрипло, но по-отцовски тепло попросил Фома Фомич. – Расскажи лучше, как дело было, – и подмигнул по-приятельски.

Девица хохотнула и приспустила пояс стыдливости на пару дюймов.

– Седина в бороду – бес в ребро, – неодобрительно заметила дама, которая сидела напротив в шляпке с вуалью. Вуаль была такая непроницаемая, что напоминала паранджу.

– Лысина в голову – бес в ребро! – строго поправила девица завуалированную даму, самым тоном давая понять, что их разговор с Фомой Фомичом их личное дело и она не допустит непосвященных в круг их интима.

«Ну, лысина у меня еще не стопроцентная, – подумал Фома Фомич, – а корни еще такие ядреные, что мне бы вас двух и на один вечер не хватило, кабы я себя из рук выпустил...»

И это не были пустые мыслительные похвалы, а абсолютная истина – корни у Фомича еще ядрились на полный ход. Но в данный момент он почему-то чувствовал необходимость и пользу держать себя с ободранной когтем девицей таким папашей. Какой-то инстинкт подска-

зывал ему такую форму поведения. Этот «какой-то инстинкт» в Фоме Фомиче был звериной силы и спасал его всю жизнь от лишних неприятностей.

Иногда спросит сосед по самолету или по купе: «Вы кто по профессии?» А Фомич вдруг: «Счетоводом я, мил человек, в совхозе». И сам не знает, почему он в данном разе не похвастался и не сказал: «Капитан я, мил человек, дальнего плавания!» И вот потом оказывается, что сосед-то собирался его на какую-нибудь роскошную провокацию дернуть – на очко или преферанс, – а как услышал «счетовод из совхоза», так сразу и пересел к другому пассажиру, который с двумя институтскими значками на пиджаке в талию.

Этот звериной силы инстинкт или внутренний голос опять же роднил Фомича с Сократом. С той загадочной особенностью великого философа, которая в сократической литературе обозначается термином «демонион» (то есть демон). К демониону Сократ, как и Фомич, имел обыкновение прислушиваться еще с детства, и демонион даже в маловажных случаях удерживал его от неправильных поступков, никогда (что в случае Фомы Фомича Фомичева особенно важно), однако, не склоняя философа к чему-либо совсем уж определенному. В частности, как всем известно, внутренний голос воспрещал Сократу заниматься политической деятельностью. В последнем случае мы опять видим схожесть Фомы Фомича с Сократом, ибо капитану Фомичеву тоже хватало ума не залезать далеко даже в пароходскую политику.

Фома Фомич пошел делать этакого «папашу» именно потому, что сидел в нем сатир, но сидел в глубоком подполье, загнанный в погреб социальными установками и служебным положением. Девушка же сильно действовала прелестями – произошло какое-то прямое попадание ее коленок в сатирический центр Фомича – вот инстинкт-то, демонион, и сработал, уберегая от неприятностей.

Ведь за сатирическую приятность мужчине обязательно надо платить неприятностью.

Ободранная когтем подружки девушка бесила в Фоме Фомиче беса, но в силу вышеизложенного (и свеженькой гардеробной информации о происхождении косметологов от венерологов) он пошлого беса намертво придавил. Однако коленки и прочие прелести соседки вызвали такое возбуждение, что он вдруг понес ей, как возил через моря-океаны абсолютно все. Даже жирафов. И вот уж кто плюется всегда не ко времени, так это не верблюды, а как раз жирафы. Но еще хуже возить подсолнечные семечки. Вот везли три трюма семечек из Архангельска в Одессу, так экипаж заплывал пароход до такой нетактичной степени, что и не сказать. Не было, нет и не будет больше такого заплыванного парохода нигде и никогда...

– А что самое страшное в плаваниях видели? – заинтригованная рассказами Фомы Фомича, спросила дама с паранджой.

– Негра он видел, – ответила за него приклатненная девица. – Негра, с которого шкура слезла, потому что он в Архангельске на солнце обгорел, ясно? Вот и вам бородавки надо солнцем выводить! Только не в Архангельске, а в тропиках!

– Не груби, дочка, – по-отцовски заметил Фома Фомич. – Чего на культурных людей бросаешься?

– Привычка, – пожала плечами девушка и поправила бретельку на плече под прозрачным маркизетиком. – И на тебя брошусь, папаша, если себя к культурным относишь. Культурный! На когти погляди! Да они у тебя пленкой, как глаза у дохлой курицы, заросли!

– Что ж, вы от старого морского волка еще и педикюр потребуете? – спросила дама из-под вуалетки.

– С такими обгрызенными ногтями человек обязательно кого-нибудь в жизни подсидит! Подсидел кого, морской волк? – спросила девушка.

Фома Фомич подумал, что никого в жизни не подсиживал, а если и подсиживал, то случайно, без черных замыслов. Однако обрывать девушку и злиться на нее не стал.

На почве врожденной рассудительности и жизненного опыта он каждого встречного и так и сяк поворачивал и обязательно обнаруживал самые неожиданные качества: и полезные для него, Фомы Фомича, и бесполезные. Потому портить отношения с девицей по пустякам не стал и на пошлый выпад промолчал.

– Молодежь! Кошмар теперь, а не молодежь! – вздохнула дама. – Вот товарищ, – она даже чуть поклонилась Фоме Фомичу, – сразу видно, воспитанный человек и либерального духа, никогда без причины хамить не станет. У таких бы сегодняшней молодежи учиться!..

Здесь приходится объяснить, что в словарном богатстве Фомы Фомича обнаруживались иногда аномалии. На официальном языке, то есть на сукожном, он вполне терпимо говорил. Рассказчик, когда можно было употреблять не совсем цензурные и жаргонные словечки, был даже неплохой. Отдельные слова, которые входят в «Словарь иностранных слов», тоже способен был употребить к месту – достаточно наскочил через языковые барьеры с лощманами и в сикспенсах (заграничных универмагах). Но случались и досадные провалы.

Например, в недавнем рейсе плыл с ним в качестве пассажира на международную морскую конференцию знаменитый морской юрист и начальник из Москвы.

Третий штурман на отходе чуть ткнул сухонького. И московский начальник говорит: «Вы бы, молодой человек, поменьше языком в рубке болтали, а то товарищ Фомичев уже вот-вот с цепи сорвется!»

Фома Фомич задумался минут на двадцать, решая вопрос: реагировать на оскорбление со стороны начальника или нет? И на двадцать первой минуте решил тактично все-таки выяснить: почему тот обозвал его собакой на глазах всего экипажа и при исполнении им, капитаном Фомичевым, служебных обязанностей?

Несчастный начальник даже смутился и битый час объяснял Фоме Фомичу, что существует выражение «держать себя в руках», оно аналогично выражению «держать себя на цепи», и так далее, и тому подобное...

В косметической поликлинике № 84 Фома Фомич очередной раз завалился в языковую пропасть.

– Что это вы, значить, имеете в виду под «либеральным духом»? – спросил он не без мореного дуба в голосе.

– А то, что ты, папаша, оппортунист, – дерзко объяснила (вместо дамы с вуалью) вульгарная девица.

Фома Фомич насторожился и так глубоко задумался, что лик его уже перестал смахивать на Сократа. И чем-то напоминал царя Додона.

Про оппортунистов Фома Фомич был наслышан достаточно и в таком политическом заявлении дамы усмотрел прямую провокацию.

– А вы, мадам, – наконец сказал Фома Фомич, – в таком случае, гм... обыкновенный недобитый петлюровец!..

И бог знает, чем бы все это кончилось, если бы в коридоре не запахло жареным человеческим мясом, а из процедурной не донесся бы нечеловеческий вопль.

Дама с вуалеткой заткнула уши пальчиками (точь-в-точь, как Катюша давеча), вскочила со стула и бросилась на выход.

– Слабонервная, – прокомментировала ей вслед приклатненная девица. – Такие и в гроб все в бородавках ложатся. За красоту, либерал, и муки принимать надо. Я вот третий раз шлопаться буду. Уже в стационаре лежала. Обещают так залакировать, что комар носа не подточит... Расскажи, папаша, чего еще. Вот в Париже бывал?

Нельзя сказать, что запах и вопль произвели на Фому Фомича успокаивающее впечатление, но ему перед девицей невозможно было это показать. И он рассказал, что недавно ездил в Париж. И даже в поезде. Как один из самых перспективных капитанов в пароходстве был

отправлен в командировку на специальный французский тренажер. И все это правда была, но девица не поверила, хохотала от души, весело и от избытка чувств щипала Фому Фомича за пиджак на плече.

– Тише ты, тише! – урезонивал Фома Фомич девицу. – Люди оборачиваются! Знаешь, дочка, кого мне напоминаешь? – задумчиво спросил он, когда девица успокоилась. – Плавает у меня буфетчица. Сонькой зовут, – начал он новую историю, зажав руки между колен (любимая поза в отпускные домашние вечера у телевизора). – Плавает, значить, буфетчица. Сонька, по фамилии Деткина. А матросы ее «Сонька Протезная Титька» кличут. Хотя и никаких протезов там, значить, и не числится: жаром от ее титек на милю полыхает. Но язва девка. Одно и есть положительное – рыбу готовит замечательно. Ежели где рыбки добудем, так она повара всегда замещает. Только Соньке доверяю рыбку. Охочий до нее. Да. До рыбки охочий, значить...

– Почему «протезной» прозвали? – с большим интересом спросила девица.

– А не дает никому проверить – вот они и прозвали, – объяснил Фома Фомич. – Коварная и языкатая. Старпома зовут Арнольдом Тимофеевичем, а она его Степаном Тимофеевичем – Разиным, значить. Он возмущается, кричит на весь пароход: «Арнольд я! Арнольд! А не Степан!» – «Вы, – она ему объясняет, – такой смелый, как Степан Разин или даже Котовский, вот и путаю...» А Тимофеич-то мой, чего греха таить, трусоват, но документацию ведет замечательно...

– Сколько ей, Соньке? – спросила девица.

– Двадцать исполнилось.

– И ни разу хахаля не было?

– Чуть было один не определился. В Триполи стояли. И у Соньки хахаль определился – журналист из морской газеты с нами плавал. Ну, из Триполи в Вавилон помполиты всегда экскурсии устраивают. Автобус заказали. Перед отъездом Сонька опять Тимофеича Котовским или Разиным обозвала. Он – в бутылку, прихватил ее на крюк, она тоже шерсть подняла, да. Ну, задробил старпом ей экскурсию. И тогда, гляжу, хахаль тоже не едет – любовь, значить, и круговая порука. Ладно. Поплыли в Англию. Кто-то пикантно мне намекает, что, значить, желтеет Сонька.

Вызываю на тет-тет.

Так и саяк, говорю, голубушка моя любезная. Тактично интересуюсь: ты, мол, не беременна, ядрить ты в корень?

Может, думаю, ее на аборт придется, так мне потом от валютных сложностей и неприятностей не очухаешься. Нашим-то судовым врачам запрещено.

– А она чего? – с нетерпением спросила приклатненная девица.

– А она: «Как смеете про меня так пошло думать?!» – «А чего, говорю, желтеешь? Мне-то, значить, из поддувала слухи доходят, что тебя и на соленое потянуло. Я, говорю, заботу проявляю, по-отцовски, а ты все мне подлости хочешь, – травим, значить, здесь тебя, а я по-отцовски переживаю, у меня, значить, дочка как раз такая...»

– Товарищ Фомичев! В десятый кабинет! – раздалось под высокими сводами особняка одесского турка Родоканаки.

И приклатненная девица так и осталась в неведении о дальнейшей судьбе Соньки Деткиной, ибо на обратном пути, как мы увидим, Фома Фомич ни с кем уже беседовать был не в состоянии.

3

Валентина Адамовна и старик невропатолог попросили Фому Фомича раздеться до трусов.

Он смог раздеться только до кальсон.

– Ничего, не переживайте, – сказала Валентина Адамовна. – Мы здесь и не такие гоголь-моголи видели. Засучите кальсончики на той конечности, где у вас змея, а где нет, там можете не засучивать.

Затем старик невропатолог поставил уника в конус света рефлекторной лампы возле откидного хирургического кресла. И пошел-поехал щелкать фотоаппаратом. Оптическая насадка на аппарате напоминала трубу ротного миномета – специальная насадка для крупномасштабного фотографирования.

– Личность-то не попадет? – на всякий случай еще раз поинтересовался Фома Фомич.

– Нет, нет! Обязательно без головы выйдете, то есть будете, – мимоходом успокоил пациента невропатолог-фотограф. – Но, должен заметить, Валентина Адамовна, пациент уже в возрасте. И с нервишками не все в порядке. Обратите внимание, как он на щелчки спускового механизма реагирует. Думаю, он у вас при сильном болевом шоке приступ стенокардии закатит. Такая древняя наскальная живопись – это вам не банальные оспенные следы или бородавки...

– Да, – легко согласилась Валентина Адамовна. – А мы вот Эммочку попросим с ним заняться. Она молоденькая, нервы хорошие...

– Рыжая? В брюках? Практиканточка? – спросил старик невропатолог, отвинчивая с фотоаппарата минометную трубу.

– Нет. Брюнетка. Вторую неделю тренируется, и рука у нее твердая, – сказала Валентина Адамовна.

Беседовали медики так, как нынче у них и принято, то есть не замечая пациента.

Сегодняшняя наука установила, что чем больше наш брат будет, например, знать о своем раке, тем сильнее будет ему сопротивляться, а внутреннее, духовное, психологическое сопротивление и аутотренинг играют в безнадежных случаях огромную роль в деле улучшения духовного настроения бедолаги.

– Я очень, значить, извиняюсь, но... – начал было Фома Фомич, испытывая нарастающее опасение за близкое будущее. Он хотел со смешком сказать несколько слов на тему практикантов (на них вдоволь нагляделся: в каждый рейс какого-нибудь практиканта подсовывают, а тот и нос от кормы отличить не может). Затем собирался попросить Валентину Адамовну самолично начать процедуру, но она после фотосеанса абсолютно утратила к уникаму интерес, перевела свет рефлектора на кресло и велела пациенту туда садиться. Сами же невропатолог и косметолог покинули кабинет.

Фома Фомич сел в холодное кресло и убедился в том, что и правая (со змеем-горынычем) ляжка, и левая (без украшений) мелко и противно вздрагивают. Вздрагивали и коленки. А из подмышек запахло мышьиной норой.

«Использовала, сука, и продала», – с горечью на людскую пошлую натуру подумал Фома Фомич, по телевизионной привычке засовывая кисти рук между коленок и судорожно сжимая последние.

Было тихо.

За окном кабинета качались верхушки бульварных лип. На старинном мраморном подоконнике, намертво в него вделанная, стояла буржуйская мраморная ваза с золотым антуражем в виде лир. А на потолке – прав был гардеробщик – резвились вовсе почти обнаженные ангелы, а может быть, и амур.

«Все Катька придумала! – вдруг мелькнуло у Фомы Фомича. – А сама к отцу как? Только и поцелует да прижмется, коли ей заграничную тряпку приволочешь, а так и нет никакого беспокойства и переживания за отца... Супруга тоже хороша... Раньше-то ревновала, волновалась, значить, а нынче что? Успокоилась. И в рейс проводить не придет – гипертонии да мерцания разные... Они на пару меня и сюда загнали, а потом и в гроб, значить, загонят...»

Влетела чернявая шустренькая практиканточка Эммочка.

– Ну-с, как мы себя чувствуем? Отлично мы себя чувствуем! Действительно уникальные изображения! Ну-с, соски пока трогать не будем, – запела-заговорила Эммочка. – Корвалольчик приготовим на всякий пожарный... А вы откидывайтесь, откидывайтесь, не стесняйтесь...

– Как бы, значить, копыта не откинуть, – пошутил Фома Фомич, не решаясь откинуться на спинку и наблюдая, как Эммочка готовит шприц и гроыхает всякими другими жутковатыми металлическими причиндалами.

– Отлично мы себя чувствуем! Отлично! – пела-говорила Эммочка. – Молодцом мы сидим! Молодцом! Все бы так!.. Где же моя сестричка запропастилась?.. Ладно, черт с ней, и без нее вначале обойдемся... Небось за мороженым помчалась... А мы мороженое любим? Любим мы мороженое, любим!.. Головку-то запрокиньте, зачем вам на иглу глаза паять, укол как укол – обыкновенный новокаинчик... Вот мы с хвоста и начнем русалочку ликвидировать... Она у нас вся сплошь штриховая, русалочка наша, с нее и начнем... Ну вот, укольчик-то уже и позади! Отлично мы себя чувствуем! Отлично! Сразу видно, что алкоголем мы не злоупотребляем... Да запрокиньте вы голову, черт возьми! Кому сказано?! Сейчас вам в нос такое ударит, а вы его туда сами суετε!.. Уникум, просто уникам! Первый раз вижу, чтобы у мужчины так мало шерстки на груди было! Красота – брить не надо! А отдельные волосики мы поштучно щипчиками и повыдергиваем! Быстрее будет... Вот мы их повыщипываем, потом спиртиком протрем и приступим... А чего это мы побледнели-позеленели? Ай-ай-ай! Такие мы уникамы, такие мы герои! И вдруг посинели...

«Вот те и гутен-морген», – подумал Фома Фомич, откидываясь вместе с креслом куда-то в космос.

И это было его последней мыслью, если такое абстрагированное, мимолетное мелькание можно назвать мыслью.

Пещерные рисунки остались в полной неприкосновенности.

А через полчаса благоухающий спиртом, корвалолом и валерианой с ландышем Фома Фомич покинул особняк одесского турка Родоканаки.

Почему-то вынесло его из 84-й косметической поликлиники через черный ход – туда сильнее сквозило.

По дороге к черному ходу он угодил в грязехранилище и еще куда-то, а затем уже очутился в милом и тихом дворовом скверике.

Автомобиля Фомы Фомича в скверике, естественно, не было, так как оставил он «Жигули» на бульваре Профсоюзов возле дома с бюстами негров. Негритянских бюстов Фома Фомич тоже не обнаружил.

Голова у него кружилась, и сильно тошнило. Но на свежем воздухе минут через пять уникам взял себя в руки, или посадил на цепь, и нашел дворовую арку, через которую окончательно выбрался из мира эстетики на бульвар Профсоюзов, прищепывая по своей давней привычке: «Это, значить, вам не почту возить!»

Забравшись в автомобиль, Фома Фомич обнаружил, что из поля зрения исчез сегмент окружающего пространства: спидометр он на приборной доске видел, а часы, которые рядом со спидометром, не видел. Или липу на бульваре отлично видел, а фонарь рядом напрочь не замечал.

Но такое с глазами Фомы Фомича уже случалось от сильного испуга. Бывало и похуже: вместо натурального одного встречного танкера прутся сразу два кажущихся...

В машине Фоме Фомичу нестерпимо захотелось зевнуть – во всю ширь, со вкусом, – но зев как-то так не получался, сидел внутри, наружу не вылезал. А без зева не удавалось вздохнуть на полную глубину. И Фома Фомич с полминуты сидел, ловя воздух ртом и пытаясь зевнуть, вернее, вспомнить движение челюстей при зевании и насильственно совершить

этот акт, но не получалось. И он уже начал задыхаться и пугаться задыхания, когда наконец зевнулось.

И он сразу опять спазматически и с наслаждением зевнул, и слеза блаженно покатилась по щеке. И он, найдя, вспомня способ, который помогал вызвать зевок, все зевал и зевал и плакал негорючими, бессмысленными, неуправляемыми слезами – это выходило из Фомы Фомича давеча пережитое страшное.

«Я те дам курорт! Я те такой бархат выдам, сукина дочь! Я те такого молодого человека пропишу! Я те... Ты у меня картошку весь бархат будешь носом копать! Вот те и будет гутен-морген!»

К такому выводу пришел Фома Фомич, заводя мотор и отшвартовываясь от поребрика. Ему надо было еще заскочить в порт, чтобы выдать из капитана, принявшего судно, сто девятнадцатую записку-расписку за несуществующую или ненайденную документацию.

В том, что он такую расписку-записку выжмет, Фома Фомич не сомневался, так как капитан-приемщик был из интеллигентов уже третьего поколения и вообще, значить, порядочный дурак и слабак.

И когда Фома Фомич представил, как он будет обводить вокруг пальца молодого карьериста-специалиста, настроение улучшилось. И даже невтерпеж стало скорее добраться до судна и развеять кошмар давеча пережитого привычно-обыденным.

Но все произошло вовсе даже не привычно и не обыденно, потому что на контейнерном терминале Фома Фомич со скоростью шестьдесят километров насадил свои «Жигули» на клыки автопогрузчика. Или (что, по принципу относительности, то же самое) автопогрузчик всадил могучие полутораметровые клыки в борт «Жигулей».

Причинами происшедшего можно считать: а) недавно пережитый Фомой Фомичом стресс; б) нарушение правил движения автотранспорта на территории морского порта, которое последовало вследствие движения с недозволенной скоростью других четырехсот «Жигулей», отправляемых на экспорт в порт Гуль на борту теплохода типа «ро-ро» (скорость экспортных автомобилей по аппарели судов типа «ро-ро» должна быть равна пяти километрам в час, но ни один шофер при такой скорости не выполнил бы план, почему все шоферы-загонщики автомобилей носятся между контейнерами и по аппарели с космическими скоростями или уж, если не гиперболизировать, со скоростью молодых леопардов).

Фома Фомич попал в круговерт молодых леопардов и понесся куда глаза глядят, а не к своему пароходу. При попытке свернуть из круговерты за угол очередного штабеля контейнеров он и насадился на клыки автопогрузчика.

Водитель автопогрузчика был опытным портовым работником, но никогда в подобные переплеты не попадал. Когда прямо перед его глазами возникла (в кошмарной близости) физиономия Фомы Фомича – а физиономия последнего в этот момент заинтересовала бы даже мастера фильмов ужасов Хичкока, – то, вместо того чтобы бережно извлечь клыки из «Жигулей» при помощи заднего хода, водитель дернул что-то не то, а сам выпрыгнул для оказания экстренной помощи Фоме Фомичу.

В результате этих недоразумений клыки погрузчика поползли по направляющим вверх, а «Жигули» начали подниматься над плоскостью истинного горизонта со скоростью метр за двадцать секунд.

Пока водитель залезал обратно в будку и дергал рычаг в обратном направлении, Фома Фомич достиг пика.

Его взору вдруг открылась вся необъятная территория родного порта, ибо «Жигули» и драйвер оказались выше всех контейнерных штабелей вокруг.

И в этот пиковый момент произошло еще два события, хотя хватило бы для полной катастрофы и одного: 1) у автопогрузчика обломался клык; 2) железо «Жигулей» над другим клыком порвалось с легким шелестом папиросной бумаги.

Автомобиль, совершив в воздухе кульбит, упал на крышу.

Фома Фомич – на голову, то есть стал на попа.

Осенние облака, грязные и понурые, которые толпились над портом, как алкоголики у закрытого пивного ларька, наблюдали за катастрофой вполне индифферентно.

От портовой воды возле терминала пахло мокрой бочкой и половой тряпкой. Но прибывшие представители ГАИ и портовой охраны, склонившись над потерявшим сознание Фомой Фомичом, обнаружили один запах – спирта. Легкий добавочек валерианового запаха еще больше прояснил для представителей власти общую картину, ибо давным-давно наивные русские пьяницы стараются перешибить запах алкоголя пошлой валерианой...

День ВМФ на Диксоне

РДО: «ПРОВОДКА СЛЕДУЮЩЕГО КАРАВАНА ВОСТОК НАЧНЕТСЯ НЕ РАНЕЕ 28/29 ИЮЛЯ ОДНИМ А/Л ЛЕНИН ТЧК МЕСТО ВХОДА ПРИПАЙ ПЛАНИРУЕМ СЕВЕРНЕЕ БАНКИ ЕРМАКА ТЧК ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСЛЕДУЕТ Д/П ПОНОМАРЕВ Т/Х КОМИЛЕС ОСТАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ ТЧК СТОЯНКА РАЙОНЕ БАНКИ ЕРМАКА НЕСПОКОЙНАЯ ПОЭТОМУ ВСЕМ НАДЛЕЖИТ СЛЕДОВАТЬ ДИКСОН ТЧК ИСПОЛНЕНИЕ ПРОШУ ПОДТВЕРДИТЬ».

Любимые очки Фоми Фомича давно треснули вдоль и поперек. Работать в них мучительно. Однако он, как и большинство нас, грешных, испытывает к старой вещи слабость, своего рода влечение, несмотря на наличие двух запасных новеньких пар.

Процесс чтения радиogramмы начинается у Фомича с нацепления на нос треснувших очков. Уже в этот момент его губы начинают шевелиться, хотя он еще и не начал складывать буквы в слоги, а слоги в слова.

Затем следует первичный этап обследования текста, при котором Фомич еще ничего ровным счетом не понимает по существу вопроса. Он как бы производит техническое обследование текста.

На этом этапе Фомич любит исправить описку радиста, крупно перечеркнув неверную букву и водрузив над ней угрожающий вопросительный знак. Он органически не способен оставить на бумаге неисправленным «Телехаво», если какое-то судно называется «Телешаво». Он исправит это проклятое «х» на «ш» даже в том случае, если от скорости прочтения радиogramмы будет зависеть жизнь его дочери, а не только парохода со всем экипажем.

Затем в его череп начинают проникать отдельные слова-сигналы: «генеральный курс»... «самостоятельно»... «следовать»... и так далее. И начиная с этой микросекунды в нервной системе (я намеренно не употребляю слово «душа», ибо пока не знаю, есть ли у Фомича душа), в нервной системе Фомича пробуждается ощущение недоумения, там прямо-таки целый букет недоумений расцветает, переходя в устойчивое ощущение подозрения в адрес отправителя радиogramмы.

Фомич всей шкурой так и начинает понимать, что отправитель только и думает, как бы переложить на его, Фомича, плечи бремя ответственности, спихнуть на него планету и даже Вселенную...

27.07. 11.00.

Стали на якорь на рейде Диксона. Рейд пустой.

Штиль. Охра берегов. Коричневая запятая могилы Тессема (традиционный поклон ему). Полмили от Угольного причала (не самые хорошие ассоциации – шторм взасос и ободранный планширь на моем МРС-823). Прямо по носу хижина, где жили разделящицы белух (с которыми в пятьдесят третьем году я танцевал падекатр).

Вдруг лень стало писать, думать, мечтать. Последнее особенно плохо. Да, если раньше здесь поддерживали необыкновенные мечты, то ныне поймал себя на их отсутствии. И что оказывается? То оказывается, что и без них жить можно! Вот обедать пойду, потом вздремнуть лягу или Нагибина почитаю...

А когда-то читал здесь «Обыкновенную Арктику» – и так, помню, захотелось сообщить Горбатову свой буйный романтический восторг! Вероятно, не следует перечитывать «Обыкновенную Арктику». Пусть остается прежнее ощущение от книги.

Сегодня же считаю, что романтическому автору кажется, что он уловил, ощутил, отразил поэтическую истину. И от находки поэтической истины художник-романтик делается пьян в сосиску, в стельку, в драбадан. А тому, кто действительно приближается к поэтической истине, не дано опьяняться ею. Сойти с ума, как Ван Гог, он может, но это с трезвого ума сходят, а не с пьяного. Это уже не романтизм, а высокий реализм, то есть максимальное приближение к красоте и ужасу правды.

От дурного настроения подначил Фома Фомича на устройство судового праздника. Коллективный ужин с выпивкой – запрещено специальным приказом министра, но пускай приказ министр проводит в жизнь на акватории министерства в Москве. А на судне, где экипаж с борю да с сосенки, перед ледовым плаванием следует людей сблизить и теснее перезнакомить, пообщать за праздничным столом. Все в меру, конечно. И повод должен быть – для оправданий (в случае чего).

Повод нашелся – День ВМФ.

Неожиданно Фома Фомич на мероприятие согласился легко и просто.

Насторожился только тогда, когда я сказал, что в арктических рейсах с некоторых пор не пью ни капли алкогольного и что беру на себя ответственность за вахту, связь и наблюдение во время ужина. Так я хотел его успокоить. Но...

На сократовском лице Фомы Фомича так и отпечатался демонион: «Дублер, значить, сам пить не будет, а на меня телегу за коллективную пьянку?..»

И вот очередной букет недоумений и подозрений расцвел на его физиономии.

– Как так, значить, «не пью»?

– А вот так. Слаб на вино. Если начну, то загужу, – продолжал я разыгрывать его. – Мне или ни капли, или все, что у вас есть в холодильнике.

– Я, значить, извиняюсь, но это... алкоголик, значить?

...Конечно, графа Меттерниха Фомич, пожалуй, не смог бы подсидеть, кабы вступил на дипломатическое поприще, но какого-нибудь Керзона обошел бы на первом повороте. Огромный дипломатический талант зарыт в этом самородке.

И я без шуток: разговор происходил в присутствии третьего лица – радиста.

Радист, как я успел заметить, был в микрогруппе капитана и старпома. Иметь алкоголический козырь против меня Фомичу было очень важно.

– Да. Алкоголик, – сказал я, чтобы сдать Фомичу козырь и ослабить его подозрения в какой-либо злокозненности своей трезвости.

– Все, кто книжки выдумывают, – алкоголики. Вот Есенина взять... – авторитетно начал радист.

– Алкоголизм хорошо лечить триппером, – перебил его Фома Фомич с сочувственным в мой адрес вздохом; добро и душевно сказал. – У меня, значить, братан старший. У него дочь. Так ее первый муж через это, значить, дело пить насмерть бросил...

И на этом принципиальное обсуждение вопроса праздничного ужина закончилось. Были вызваны артельный и старпом, уточнены запасы в артелке, остатки денежных средств из культурфонда и прочие практические детали.

Вечер получился. Многие из нас как бы впервые и замети ли друг друга (вахты и сон в разное время суток на судне иногда не дают возможности толком познакомиться и с соседом по каюте).

Ребята хорошо пели. И хором, и соло. Столы выглядели красиво. Тетя Аня и дневальная Клава постарались. Повар сварил отличный студень. Радист обеспечил музыкальное сопровождение. Никто не перепил.

А мой напарник – второй помощник Дмитрий Александрович – пел арию Варяжского гостя из «Садко» и – по требованию самых молодых – «Бригантину». Просто прекрасно пел! Оказывается, когда-то мечтал о ВГИКе, но умерла мать, отец спился, есть было нечего – пошел на казенные харчи в мореходку... Знакомая дорожка...

От песен Фома Фомич растрогался. И так, что отправил супругу за интимно-заветной бутылочкой. Очко в пользу капитана «Державино»!

Хоть по капельке добавки досталось ребятам, но она капитанская была, а это вам не понюх табаку!

Силу песни ценят моряки любых национальностей. У американского моряка-матроса и знаменитого писателя прошлого века Дана есть такие строки: «Песня стоит десяти человек, и это знают все, кто выхаживал якорь вымбовками».

Фома Фомич выхаживал якорь вымбовками, то есть вручную. И потому вырвал из сердца заветную бутылочку и угостил матросов. «Молодец!» – мысленно отметил я, и тут же Фома Фомич допустил гафу. Он... он назвал любимого старпома Степаном Тимофеевичем!

Брякнул – остолбенел.

И мы – почетные заседатели главного стола – остолбенели.

Ибо благоразумие и благоволение к верному партнеру всегда преобладало у Фомы Фомича над злопыхательством. И вырвался у него «Степан Тимофеевич» опять же по известному закону ассоциативности. Он как раз спорил с Иваном Андрияновичем о том, что видел фильм о Разине, и видел даже, как тот швырял за фальшборт ладьи иранскую княжну, и как принцесса цеплялась за бегучий и стоячий такелаж, чтобы, значить, не сразу булькнуть. А стармех утверждал, что такого нюанса вообще не было. И потому ничего Фома Фомич не видел.

Слушая спор, я отмечаю: старпом Арнольд Тимофеевич нервничает, и разговор про вождя крестьянского восстания ему не в жилу, а сам раздумываю о великой зримости образного слова, о том, что и я как бы видел сцену швыряния княжны за борт, хотя даже у Сурикова такого нет.

Стармех Иван Андриянович спорил аргументированно, говорил, что, может быть, в двадцатые годы и сняли фильм о Разине, но видеть тот фильм Фомич не мог, а про новый фильм только шли разговоры, потому что его Шукшин собирался ставить, да вот помер... Фомич обратился ко мне за поддержкой, я склонился к точке зрения стармеха. Тогда Фомич и бросился за помощью к верному помощале и – бряк!

– Степан, – говорит, – Тимофеевич, ты с тридцать девятого года, значить, все помнишь... так...

Вот тут-то и произошло остолбенение.

Арнольд Тимофеевич не тот человек, который способен делать веселую рожу при плохой игре. Он ткнул вилкой в студень, подцепил кусок и нормально уронил по пути к своей тарелке в чай Галины Петровны. Галина Петровна, несмотря на гипертонию и мерцания, рюмочку пропустила и потому стесняться не стала и высказала разом и в адрес супруга, и в адрес его верного помощника одно только соображение:

– Старые вы уже, дурачье такое, а все о ерунде спорите!

– Вот, значить, и хорошо, что старые, – выходя из остолбенения, заметил Фома Фомич. – Правильно я, Арнольд Тимофеевич, говорю? Чем старше, значить, тем осторожнее плавать будем! А перестраховочка-то на море-океане еще никому не повредила, значить.

– Да-а! – многозначительно заметила супруга. – А кто новую машину разбил? Кто на крышу поставил? Ты! А с какой перестраховочкой-то ездил! Смотреть противно было!

Фома Фомич потер красный шрам на лбу и по своей привычке задумался. А мой старый соплаватель Иван Андриянович дернул себя за слоновое ухо, и что-то такое мелькнуло в его маленьких глазках, что меня вдруг озарило: весь разговор про кино и Разина возник за праздничным столом не самотеком, а с заранее обдуманными намерениями хитрого Ушастика.

– Эт как так: на крышу поставил? – строго спросил Фома Фомич супругу. – Сама она на крышу, значить, способилась трахнуться! И ты тут не к месту вопросы поднимаешь, значить! Цыть!

Сдаваться капитан «Державино» не собирался. Полнейшую власть над супругой Фома Фомич демонстрирует трижды в сутки – в завтрак, в обед и за ужином. Каждый раз в дверь кают-компаний, широко ее распахнув, входит первым наш Фомич, а за ним супруга. Чтобы, значить, экипаж знал, что супруга капитана знает свое место и что Фома Фомичев семейственности и всяких поблажек близким родственникам не допустит. По любому трапу он спускается и поднимается первым, а сзади, как падишахша за падишахом, на приличествующей случаю дистанции следует Галина Петровна.

Она мне нравится тем, что явно стесняется тети Ани – того, что той приходится подавать ей еду. И я сам видел, как Галина Петровна в начале рейса сунулась было в буфетную, чтобы помочь мыть посуду, но Анна Саввишна вытурила ее оттуда с цианистой, то есть женской ядовитостью, заявив, что для работы в буфетной надо иметь специальное свидетельство на предмет «чистоты и медицинского здоровья».

...Истинную расстановку сил в семействе Фомичевых, ясное дело, давным-давно обрисовал мне Ушастик на дачном материале. «Баба Фомича не под каблуком, а под шлепанцем держит! Придет к нему товарищ-приятель на дачку, он: «Подай, Галина Петровна, стакан и закуску!» Она – нуль: сидит на веранде и на природу смотрит. Он приятелю: «Супруга, значить, отдыхать легла, сам соображу!» А она-то на виду на веранде сидит и на природу смотрит! Ну, а Катька ихняя – тут такой нюанс: на всех чихать хотела. Наедут к ней с магнитофонами и залезут молодые и лохматые на крышу загорать – как будто на земле места мало, мать их! Крыша-то в бунгало тонкая, прогибается, а Фома с Петровной головы под крыло прячут и терпят! Страх перед молодым поколением ужасный! Где тут, скажи мне, Викторыч, здравый народный смысл? Ведь вот как бывает-то, в кино смотришь про Чичикова или там «Ревизора» и думаешь: литература, мол, все это, выдумки, а в натуре – иное! Нет! Все именно так! Стоит на Арнольда посмотреть, да и на Фомича, прости господи! Ну вылитые они из Гоголя!..»

Однако на «Державино», на службе своего супруга, Галина Петровна обычно выказывает ему положенное по штату уважение и почтение. Так что некоторый боевой наскок на Фому Фомича за праздничным столом можно объяснить только рюмочкой, которую она приняла в честь Дня Военно-Морского Флота СССР при тосте: «За тех, значить, защитников наших, которые сейчас в море, на вахте и гауптвахте!»

К концу пиршества я, как непьющий, решил подняться на мостик и подменить вахтенного третьего штурмана, чтобы тот мог принять участие в общем веселье.

Со мной на мостике остался матрос первого класса Рублев.

После застольного шума и духоты особенно чисто, и свежо, и просторно было наверху.

Белое полуночное солнце катилось слева направо над согбенными сопками материкового берега бухты.

Штиль был полный, и тишина была полная.

И бесшумно, черным дневным привидением, скользил-входил в бухту Диксона теплоход «Павел Пономарев».

На его носу изображен белый медведь с агатовым зверским глазом, обозначая принадлежность «Пономарева» к судам арктического братства.

Назван теплоход в честь старого полярного капитана, с которым я когда-то был шапочно, но знаком.

Павел Акимович – первый атомный капитан. Он принимал атомоход «Ленин». Был час ночи, но солнце пронизывало рубку, и все, что может сверкать под солнцем, сверкало в ней.

Рублев, сын Рублева, явно принял рюмку, не дожидаясь подмены, но такой мир и безопасность царили вокруг, что я сделал вид, что не замечаю этого неуставного нюанса.

Мы смотрели, как бесшумно и спокойно швартовался «Пономарев» к Угольному причалу. И только грохот якорной цепи нарушил и еще больше подчеркнул тишину, – они швартовались с отдачей правого якоря.

Северная тишина! Она особенная, как тишина гор.

Кроме якоря «Пономарева» тишину нарушила тетя Аня: принесла нам в рубку кофе. По своей инициативе принесла. Значит, есть в ней врожденное морское – заботиться о ночной вахте. Плюс тете Ане!

Третьим тишину нарушил Рублев:

– Входить, родима матушка, пожалуй к нам на пир-беседу! – приветствовал он буфетчицу ее голосом. – Не боишша, что насильничаем тебя, бабуля?

– Янот ты бясхвостный! Тебе кофю приволокла, чтоб не локтем закусывал и командирам сивушным духом не дышал, а он... – совершила четвертое нарушение северной тишины, обидевшись на Рублева, тетя Аня. И, заложив имитатора, ушла.

И мне ничего не осталось, как нарушить тишину в пятый раз:

– Что же вы, Рублев? Часик подождать не могли?

Он вздохнул сокрушенно и поклялся памятью отца, что это первый и последний раз. Я с Андреем как-то говорил о его отце, интересовался тем, насколько правдивы легенды. Вот имитатор и даванул на мою психику – так мне сперва показалось. Но Рублев, сын Рублева, вдруг поведал, что День ВМФ у них в семье особый, что в море погибли в войну все мужчины семьи, что сам он отбухал на крейсере три года в посту управления планшетистом и что в такой День ему пить вместе со всеми как раз и не хочется, а хочется приглубить стопаря именно в одиночку; с такой искренностью он это поведал, что пришлось отпустить ему грех.

Диксон – мыс Челюскина

28.07. 19.00.

Съездил в поселок, чтобы подстричься и купить для личных нужд чай и кофе.

Полубокс (без одеколона) – 74 копейки. С «Шипром» – 158 копеек. Интересно на Диксоне вспомнить, что «Шипр» происходит с Кипра.

Парикмахерша хвалила местную милицию.

Полярники Диксона решили подарить атомоходу «Арктика» белого медвежонка (атоход первым должен был прийти сюда и открыть навигацию). И в ожидании прихода чуда двадцатого века медвежонок жил в милиции: «Отсидел в холодной», – сказала парикмахерша. И отказалась от чаевых, которые я совал взамен одеколонной надбавки (не люблю и никогда не любил одеколоны всех марок, кроме «Тройного»).

«Тройного» не оказалось. Не удалось потом купить чаю и кофе – нет.

Закончил дела на берегу за час, а рейсовый катер должен был отходить только через три.

Сидел и грелся на полярном солнышке, ел апельсиновые вафли и решал вопрос: идти шестьсот метров до могилы Тессема или не идти. И не пошел, – чтобы не лгать самому себе, что, мол, мне идти туда охота.

В ковше между Угольным причалом и берегом торчали из-под воды надстройки затонувшего буксира. Тихо было. На базальте прибрежных скал красовались похабные надписи мореплавателей, имена их судов и даты посещений.

Увы и ах, но там сохранились и мои инициалы, намалеванные свинцовым суриком в 1953 году!

А из цензурных надписей я обнаружил такое стихотворение:

Голодный бич – свирепей волка,
А сытый бич – милей овцы.
Но, не добившись в кадрах толка,
Последний бич отдал концы!

«Бич» – от «бичкамер» – безработный моряк. Слово исчезло уже давно. Потому, вероятно, старомодному сочинителю ответил современный:

Я в нос плевал тому поэту,
Кто пишет здесь, а не в газету!

На судне переполох. Работники из службы охраны окружающей среды, которые в силу специфики профессии все вокруг (кроме природы) знают, сообщили, что на Диксон летит К. Симонов с семейством – жена и дочь. Семейство якобы собирается проехать трассу Севморпути до Певека. Составлен даже график его перемещений по Арктике, но это – глубокая тайна.

Не знают о тайне только белухи.

И потому не знают, что их в бухте нет: или гуляют в открытом море, или они при помощи «охранников природы» уже отгуляли навсегда.

Реакция Фомы Фомича

- Виктор Викторович, как думаете, к нам их, значить, не засадят?
- Нет. Не думаю. В караване будут более крупные и комфортабельные суда.
- А он, значить, чего Герой? Труда или военный?

– Труда.

– Жди меня, и я вернусь... – задумчиво шепчет Фома Фомич, ибо демонион нашептывает ему что-то предостерегающее и спасительное. – А его стихи у нас в библиотеке имеются?

– А я откуда знаю? Я у вас без году неделя.

– Вот те и гутен-морген! – бормочет Фома Фомич. – А ежели банкет, или встреча, или другое мероприятие? Лицом, значить, в грязь?

Звонит стармеху (тот парторг и замещает помполита) и вызывает на экстренное совещание. Пока ожидаем комиссара, реагирует Арнольд Тимофеевич:

– У товарища Симонова восемнадцать премий! Помню, как в тридцать девятом на Халхин-Голе они под руководством маршала Жукова япошек долбанули. А в эту войну, – продолжает вспоминать, но уже как-то сомнамбулически-почтительно и тихим, восхищенным голосом Арнольд Тимофеевич, – его слова даже в личное дело записывали. Вот был у нас начальник минно-торпедной службы. Он из сбитого самолета самонаводящуюся бомбу извлек. А потом ее, сверхсекретную, союзникам показал. И товарищ Жуков, когда про эту глупость узнал, назвал торпедиста «шляпой». И тому в личное дело так и записали: «Капитан второго ранга Никифоров – шляпа. Маршал Жуков...»

А я-то, шляпа, в начале старпомовского монолога думал, что это слова Симонова в личные дела фронтовиков записывали (такое наверняка было). Оказывается, Арнольд Тимофеевич уже на Жукова переключился – все смешалось в доме Облонских...

Реакция Дмитрия Александровича

– В войну отец пропал. Писем несколько месяцев не было. И приходит, что жив. И в письме – «Жди меня». Мать ревела два дня и две ночи. Стихи вслух перечитывала. Помню от килия до клотика. И про Суворова еще... Очень хорошо. И про бой в Петропавловске-на-Камчатке... А вы как к нему?

Я сказал, что Симонов вписался в Великую Отечественную войну навсегда. А потом – черт дернул меня за язык – похвастался личным с ним знакомством. И тем, что послал ему в свое время книгу и он прислал мне свою с надписью «От бывшего поэта»...

Представила меня Симонову на замечательном послесимпозиумном банкете, где итальянский романист сигал горным козлом, опять же Вера Федоровна Панова. Потом они заговорили о своем, а я не знал, торчать мне рядом или уйти и как в таких случаях положено по банкетному этикету. В разговоре Константин Михайлович произнес ту фразу, которую написал на книге своих стихов, то есть что он бывший поэт, подразумевая, что пишет теперь только прозаические произведения. Когда Симонов это сказал, Панова поджала губки и безмятежно заметила: «Не кокетничайте, Константин Михайлович!..»

Так вот, черт дернул меня похвастаться личным знакомством со знаменитым поэтом. Под конец хвастливой информации, где, конечно, был и банкет, и горный итальянский козел, и фужер водки, я сказал, что война оказалась, на мой взгляд, звездным мигом в поэтическом периоде литературной жизни нашего будущего соплавателя.

Реакция стармеха Ивана Андрияновича

Он является по вызову капитана на экстренное совещание в промасленном ватнике и в немасленном раздражении.

Дед не чурается лично работать с металлом, если ему это в охотку.

Тихая стоянка на Диксоне используется стармехом на всю катушку – он хорошо знает сюрпризы предстоящего ледового плавания. Нашему парторгу и вриопомполиту не до обсуждения поэтических проблем.

Он – величайший мастер все услышать и засечь первым на судне, – оказывается, еще и не уловил слуха о прилете Симонова.

– А мне до него какое дело? – спрашивает Иван Андриянович. – Вы лучше занятие со штурманами проведите! У меня оно еще на вчера записано: «Грамотная эксплуатация силовых установок только в содружестве штурманского состава и механиков позволит бесперебойно работать механизмам в плавании за ледоколами».

– Это, значить, проведем. Нынче проведем, – говорит Фома Фомич. – А сейчас ты, как парторг, скажи: книги товарища Героя Социалистического Труда на борту есть? Это, значить, раз. И второе – надо подарок готовить. Пускай токарь чего выточит – айсберг из плексигласа, к примеру, на черном эбоните...

– Токарь вторые сутки не спит, – начиная серьезнее относиться к происходящему, размышляет вслух Ушастик, – но... Тут в чем нюанс? Симонов что! Сам он и семейство – это победы. Но его в каждом порту начальство встречать будет. Этот нюанс надо учитывать. Нужно штук пять айсбергов заготовить. У боцмана руки золотые. Засаживай, Тимофеич, его за дело. Тут, товарищи, следует помнить, что чем дальше мы будем от банкетов держаться, то и подшипники целее будут. В слове «смелость» я десять нюансов знаю: девять нюансов – «Беги!», а десятый – «Беги и не оглядывайся!...» По вопросу библиотеки. Там не только черт, сам товарищ Симонов ногу сломит – такое безобразное состояние. Только и стоит в порядке Большая Советская. Ее используем. Он в нее наверняка засажен. Пускай Викторыч займется. Тебе, Викторыч, партийное поручение: ежели тост или речь говорить... А вообще, Симонов и Зощенко в Новой Зеландии чрезвычайно популярные писатели...

Реакция Андрея Рублева

– Клюква. Утка. Кряква. Никто не летит. Ни он, ни жена, ни внуки. В Сочи они летят. Или на Бермудские треугольники. – Это Рублев говорит своим голосом.

Дальше голосом старпома:

– Однако уши надо держать! Вот в тридцать девятом году знал майор Горбунов одного умного тайного советника, так тот прямо советовал: «Вообще, я в нечистую силу не верю, но ежели обстоятельства ей благоприятствуют, то не только сам верю, но и всем другим советую!...»

Реакция тети Ани

– Про мириканцев у него сердешно написано. Англичаны-т у мириканцев на веревочке. Мириканцы хотели Кубу взять, когда мы там стояли, да ни вдалася им... Пущай старпом матроса даст – белье стирать пора, а стиральная машина лопнула: одно сплошное беззаконие на пароходе...

Утром поехали в штаб Западного сектора на инструктаж.

На южных берегах острова Диксон кое-где снег.

Вылезли на остров.

Фома Фомич:

– А земля-то в прогалинах темная, нормальная.

Капитан «Софьи Перовской»:

– Да, чернозем.

Фомич:

– Вчера ходили в магазин, так она, земля, прямо теплая.

Я:

– Это угольная пыль, Фома Фомич. Здесь ледоколы бункеровались от самого дня их рождения.

Идем дальше по мосткам тесовым. Травка в щелях между досок – не пропадает зеленое-то в Арктике! Торчит – живучая природа...

Фома Фомич:

– Трава! А? Козу нормально можно вырастить, а?

Капитан «Перовской» (молодой, сдержанный, замкнутый):

– И козла. Чтобы козе не скучно было.

В штабе Анатолий Матвеевич Кашицкий – начальник Западного сектора.

Лет шестьдесят, широкая и узкая полоса на погончиках, не курит, ни разу не надевал очки.

Солнце просвечивает комнату с картами трассы на стенах. Цветные кальки шелестят под карандашами младших сотрудников.

Обстановка. Тяжелая впереди обстановка. Сутки чистой воды до кромки. Потом мощная перемишка в проливе Вилькицкого, потом – черный ящик: в Восточном секторе за 125-й параллелью стеной еще стоит лед.

У кромки встретит «Капитан Воронин», и будем болтаться в полыньях до конца августа.

Следовало выходить из Ленинграда на месяц позже, но у Ленинграда задача – выпихнуть суда в арктический рейс. У Мурманска – выпихнуть из Мурманска. У штаба Западного сектора – выпихнуть из своего сектора. Об этом и говорим в кабинете Кашицкого, когда ждем обратный катер. Фомич нудит о слабости правого борта в районе машинного отделения. Рассказывает о встрече в Дрогденском канале с бывшим капитаном «Державино» Шониным («Самый знаменитый архангельский капитан!») – это Фомич путает морского Шонина с космонавтом). И как Шонин предупредил в Дрогденском канале по радиотелефону о слабости борта. И как он, капитан Фомичев, хотел из Мурманска дать предупредительную РДО, но потом не дал, так как дублер (я) его отговорил, но теперь, ввиду тяжелой ледовой обстановки, он считает долгом – как бы чего...

Кашицкий скучает, но терпит привычно. Наконец тихо говорит, что если попал в зубы ледоколу, то как к крокодилу. О том, была или не была водотечность, ледокол спросит; про винто-рулевую группу – тоже; а вот уж если, не дай бог, что-нибудь с «Державино» случится, тогда уж ледокол будет индивидуальностью вашего борта интересоваться персонально.

Еще Кашицкий объясняет, что лед тает приблизительно по три сантиметра в сутки. Значит, метровая льдина, которая сегодня означает для нас пробоину, через десять суток превратится в семидесятисантиметровую – совсем иной нарзан, то есть качество: будет разваливаться под форштевнем...

– А все-таки я вам, очень извиняюсь, Анатолий Матвеевич, бумажку оставлю, значить, о нашем бортике... Заготовил тут... схемку... покумекал на досуге... – говорит Фома Фомич ласково.

По лицу капитана «Перовской» вижу, как ему стыдно за коллегу.

Кашицкий берет бумагу. Не читая, пишет синим карандашом что-то наискосок. Фома Фомич продолжает бормотать, быстро моргая, вкрадчивым голосом:

– ...Рейсовое задание... ваши интересы не затронуты... мне большая неприятность... акт только для нашего диспетчера... я очень вынужден просить... я признаю... я понимаю... опыт подсказывает...

Кашицкий зачитывает резолюцию: «С документом ознакомлен и глубоко изучил».

Фома Фомич прячет бумажку в портфель.

Уничжение паче гордости.

– Благодарю, Анатолий Матвеевич, очень извиняюсь, значить, и благодарю от души! Пойду катерок на воздухе подожду... – И уходит, кланаясь. А в душе-то его на самом деле светится снисходительная даже какая-то радость: этого-то – с широкими шевронами, седого – он, Фомич, обдурил как мальчишку. И вот рейс, «Державино» и капитан Фомичев начинают обкладываться, обеспечиваться, обвешиваться нужными бумажками, как портовый буксир – кранцами из автомобильных покрышек...

– Думаю, неправильно, что маленькие трехтысячники идут в Арктику первыми караванами, – говорит старый ледовый капитан Кашицкий. – Но мы не знаем смысл приказов в общеминистерском или в общесоюзном масштабе. Возможно, любые затраты на проводку вас первыми оправданы неизвестными нам причинами. Не след об этом забывать. И объясните это своим людям.

Он провожает нас с капитаном «Софьи Перовской» до дверей домика-штаба, жмет руки, желает счастливого плавания.

Да, когда старый моряк желает «счастливого плавания», это звучит не пустым звуком. Впереди тяжелая работа. Под занавес приглашает зайти в гости, если на обратном пути занесет сюда.

Долго ощущаю тепло и крепость рукопожатия...

«Тьфу-тьфу!» – думаю, не обойтись кому-нибудь из нас без приключений...

На причальнике красно от красных курток – ребята из экспедиции «Комсомольской правды» с рюкзаками и грузом. Они который уже год ищут останки Русанова. Перед отлетом из Ленинграда видел по телевизору интервью Юрия Сенкевича с их начальником. А теперь вижу парня в натуре. Знакомимся.

Нас жарят из кино- и фотооружия со всех точек его коллеги. Еще бы: историческая встреча – морской писатель и молодые землепроходцы, искатели останков былых героев. Искатели без шапок, волосы выются над покрасневшими от холодного ветра физиономиями. Трое из них поедут пассажирами на «Державино» до ледовой кромки и встречи с ледоколами, затем вертолеты ледоколов перебросят их на Северную Землю.

Снимаемся с якоря в восемь часов московского времени за «Пономаревым». На «Пономареве» действительно Симонов с женой и дочерью.

Пролезаем в узенькую щель между островом и материком. За нами отчаянная революционерка «Софья Перовская».

Солнце. Ясно. Устойчивый ветер с севера. Поплыли всерьез.

Отношу в сушилку выстиранные свитер и фуфайку. А вчера подстригся и час отплескался в ванне Фомы Фомича – готов теперь по всем швам к свиданию со льдами.

Так как с детства я говорю и пишу правду, всю правду и только правду, то придется признаться, что вскоре после отхода с Диксона Спиро Хетович посадил меня в лужу! И как позорно посадил!

На стоянке он на берег не съезжал. И, отправляясь в парикмахерскую, я предложил старпому купить ему что надо из мелочей. Оказалось, Арнольду Тимофеевичу нужен один значок с полярным колоритом и один конверт. Я купил ему пять значков и десять конвертов с жирными штампами «ДИКСОН» и силуэтами ледоколов в сумасшедших льдах. Он полчаса ходил за мной и спрашивал: «Хау мени?» («Сколько стоит?» – Сколько он мне должен?) – и настойчиво пытался всучить мне рупь. Я не взял. И он заметно потеплел ко мне и принес электрочайник. Чайник я кланялся начиная с Мурманска, но он его зажимал, ссылаясь на отсутствие свободных. Здесь, вероятно, не паршивый рупь роль сыграл, а общечеловеческое – услуга за услугу. Я ему значки для внука, он мне электроприбор. И я обеспечил себе на весь рейс чай в каюте в любое время дня и ночи – хитрый я лис и психолог.

В результате потепления наших отношений я притупил бдительность и нормально сел в шляпу.

Дело происходило следующим образом.

Наличие у нас на борту ребят из экспедиции «Комсомольской правды» оживило интерес к прошлому Арктики. Русанов заставил вспомнить других трагически погибших здесь путешественников. А оказалось, что, в отличие от Фомы Фомича, Арнольд Тимофеевич кое-какие книжки читал. И вот на этом я и погорел.

Еще в пятьдесят третьем году, когда первый раз шел на восток Северным морским путем, я интересовался Русановым. И прочитал про него все, что мог достать. Заинтриговала в первую очередь женщина, француженка Жюльетта Жан. Русанов познакомился с ней в Париже, там они стали женихом и невестой. Предсвадебное путешествие Жюльетте Русанов предложил своеобразное – на слабеньком судне в роли врача через всю Арктику. И сам замысел идти на восток был, если говорить правду и только правду, и всю правду, авантюрой. И взять с собой на верную смерть девушку, студентку Сорбонны, на роль судового врача тоже как-то странно выглядит. И даже название судна «Геркулес», когда мощность его керосинового мотора была тридцать лошадиных сил, звучало или юмористически, или...

Погибли они где-то здесь, возле Таймыра.

Вот запись, которой больше двадцати лет: «12.08. 1955 г. Борт МРС-823. 20 ч. 00 м. – время местное. Проходим шхеры Минина, остров Попова-Чухчина. Здесь нашли остатки лагеря русановцев. Где ты, Жюльетта Жан? Какими были твои последние минуты?.. Штормит. Тучи мрачные... Обязательно сделать рассказ, как где-то во Франции мать ждала Жюльетту...

13.08. 1955 г. 23 ч. – время местное. Стали на якорь в проливе Фрама, измученные качкой, мокрые и грязные. Холодно. Низкий берег острова Нансена. Хлупает вода. Нет шланга брать топливо. Читал Тихонова «Кавалькаду». Эстафета чужих вдохновений:

...Окончен труд дневных забот...

Вечерним выстрелам внимая...

Надо писать Жюльетту!»

Не родился рассказ. Но нынче на «Державино», конечно же, я считал, что лучше меня историю Арктики никто ведать не ведает.

Ах и эх – эта привычка высказываться о вещах, которые только чуть понюхал! Я, например, часто обсуждаю кинофильмы, посмотрев афиши на заборах. И самое интересное, что абсолютно уверен в праве судить на основании заборных афиш.

И вот черт дернул говорить со старпомом о Джордже де Лонге. Я был так уверен, что Арнольд Тимофеевич ничего об этом несчастном американце не знает! И в разговоре небрежно-безапелляционно брякнул, что могила американца – в устье Индигирки.

Тимофеевич сказал, что это не так:

– Я с киндеров помню, когда и где погиб Лонг. В устье Лены он погиб. Вы разрешите вниз спуститься на пять минут? Я этот пошлый энциклопедический словарь принесу.

– Идите, – сказал я. А что оставалось делать? Хотя я уже понял, что путаю место могилы Лонга.

И он приволок словарь, и ткнул меня в него носом, и на глазах всей вахты торжественно и оглушительно повторил:

– Такие вещи, Виктор Викторович, моряк с киндеров должен знать!

И понес, и понес топтать меня. А шли в тумане, туман летел за дверью рубки, как выхлоп автомобиля в крещенский мороз. И хотелось сосредоточиться на окружающем мире: курс на остров Уединения, траверз острова Свердруп – мы повторяем пока точь-в-точь маршрут «Геркулеса».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.